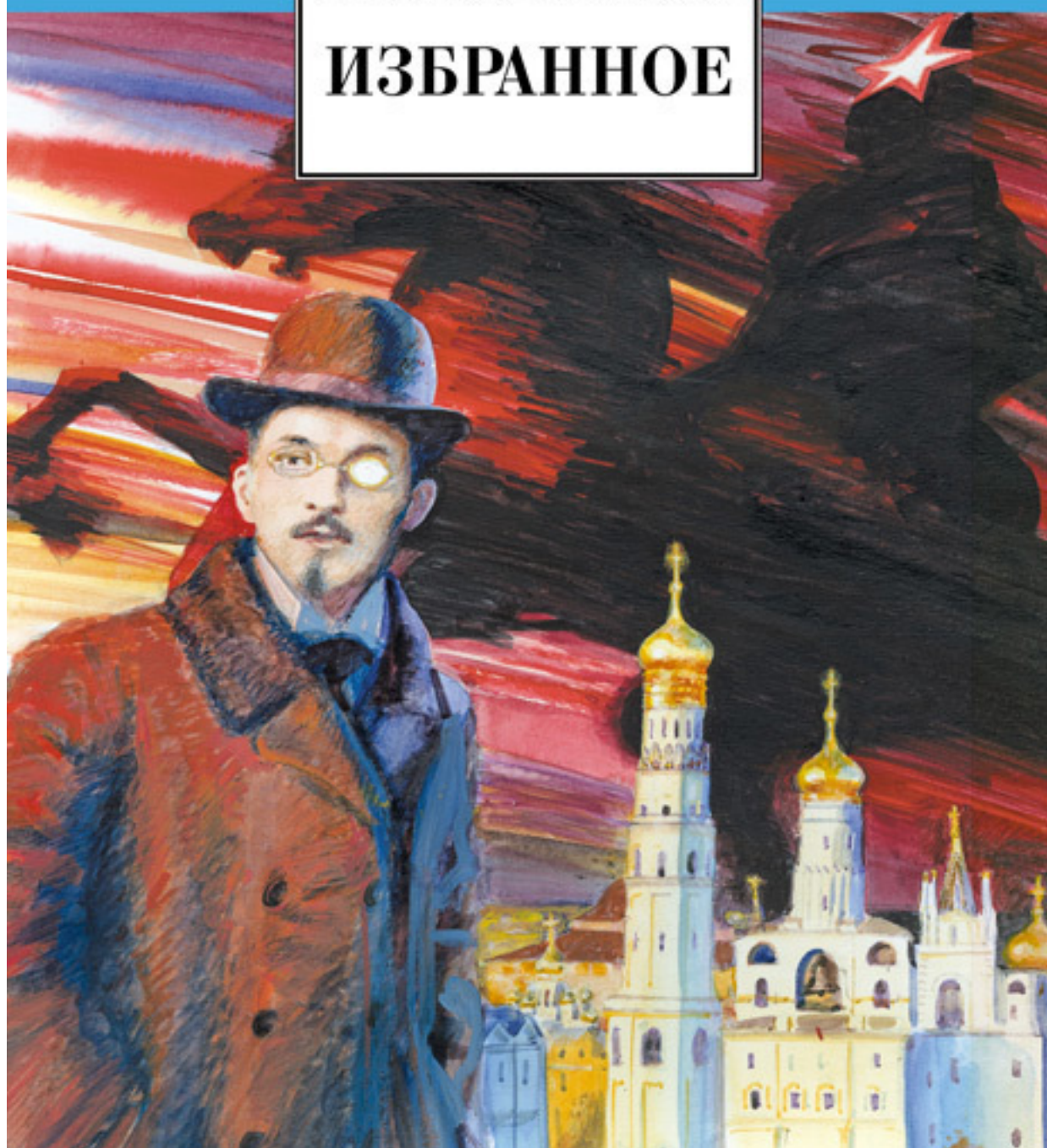


ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



Алексей Ремизов  
**ИЗБРАННОЕ**



Школьная библиотека (Детская литература)

Алексей Ремизов

**Избранное**

Издательство «Детская литература»

2008

## **Ремизов А. М.**

Избранное / А. М. Ремизов — Издательство «Детская литература», 2008 — (Школьная библиотека (Детская литература))

ISBN 978-5-08-004201-0

В сборник замечательного мастера прозы, тончайшего знатока и пропагандиста живого русского языка Алексея Михайловича Ремизова (1877–1957) вошли произведения разных жанров: сказки из книги «Посолонь», отдельные главы из романа-хроники «Взвихренная Русь», посвященной жизни русской интеллигенции в революционном Петербурге-Петрограде в 1917–1921 гг., мемуарные очерки из книги «Подстриженными глазами», плачи и пересказ жития «О Петре и Февронии Муромских». Для старшего школьного возраста.

ISBN 978-5-08-004201-0

© Ремизов А. М., 2008  
© Издательство «Детская литература», 2008

## Содержание

«Иду по словесной русской земле в веках...»	7
Из книги «Посолонь»	23
Весна-красна	25
Кострома	25
Гуси-лебеди	27
Лето красное	29
Черный петух	29
Богомолье	31
Осень темная	33
Бабье лето	34
Змей	36
Зима лютая	38
Корочун	38
Медведюшка	39
Пальцы	43
Примечания	45
Посолонь	45
«Кто посягнул на детище Петрово?..»	49
Безумное молчание	50
Слово о гибели Русской земли	51
Конец ознакомительного фрагмента.	54

*Алексей Михайлович Ремизов*  
**Избранное**



*А. М. Ремизов*

1877–1957

В издании частично сохранены особенности авторской орфографии и пунктуации

Составление, вступительная статья и комментарии В. А. ЧАЛМАЕВА

## «Иду по словесной русской земле в веках...» (Молитвы и сны Алексея Ремизова)

*Для Ремизова жить – значит мучиться сердцем: страдая – мечтать, мечтая – улыбаться, улыбаясь – писать... Он мыслит сердцем и любит помыслом...*

**И. А. Ильин. О тьме и просветлении (1959)**

*А мое дело короче: оживить русским ладом затасканную русскую беллетристику...*

**А. М. Ремизов. Из бесед с писательницей И. Кодрянской (22 ноября 1956 г.)**

Эпоха так называемого Серебряного века<sup>1</sup> в России донныне поражает своим многообразием, духовным богатством, усложненным лиризмом. И особым катастрофизмом, откровенностью, когда «человеческое сердце дает миру лучшее, что в нем есть» (С. Трубецкой). Она вся, и в особенности ее поэзия, жила в состоянии обращения к грядущему, к нам, была одержима одним стремлением – успеть сказать потомкам что-то важное.

Быть может, все в жизни лишь средство  
Для ярко-певучих стихов,  
И ты с беспечального детства  
Ищи сочетания слов.

*В. Брюсов. Поэту*

«Мы – не в изгнании, мы – в послании», – скажет Зинаида Гиппиус о судьбе русской эмиграции первой волны, судьбе И. Бунина, М. Шмелева, М. Цветаевой. В «послании», в сбережении того, что погибало в распрях, катастрофах на Родине.

К этой эпохе принадлежит и Алексей Михайлович Ремизов (1877–1957), замечательный прозаик и драматург, сказочник, «живая лаборатория русского языка» (М. Горький).

Судя по судьбе Алексея Ремизова, его жизнь в предреволюционной России и в эмиграции была «средством» для свершения весьма необычного творческого подвига. Суть этого подвига – в обретении «России в письменах», в живом, внекнижном слове, в том, чтобы слово это в его произведениях засияло, как древние краски на промытых иконах.

Какие особенности Серебряного века, то есть эпохи конца XIX и начала XX века, до рокового 1921 года (расстрел в 1921 г. Н. Гумилева и смерть А. Блока – это явный постскриптум, обрыв Серебряного века), наиболее полно отразились в судьбе и творчестве Ремизова? Без небольшого отступления – в те далекие уже и непростые времена – не обойтись.

В знаменитой «Поэме без героя» (1940–1965), этой вдохновенной трагической летописи художественных миров, салонов, театрального быта Петербурга 1913 года, когда

...серебряный месяц ярко  
Над серебряным веком стыл, —

---

<sup>1</sup> Название «Серебряный век», введенное, прежде всего, русскими эмигрантами – поэтом Н. Оцупом в статье «Серебряный век русской поэзии» (1933), поэтом и искусствоведом С. Маковским в книге «На Парнасе Серебряного века» (1962), не просто удачно, но счастливо, с привкусом тревожной ностальгии заменяет ныне скучное школьное определение – «предреволюционная» или «предоктябрьская» литература.

Анна Ахматова прекрасно передала две особенности этой короткой, но изумительной эпохи расцвета всех видов творчества, русского Ренессанса XX века.

Ахматова, – а Ремизов жил в Петербурге рядом с ней, дышал тем же воздухом, жил теми же молитвами за Россию! – отмечала, что «мятежный, богоищущий, бредивший красотой» (С. Маковский), Серебряный век неизменно порождал в художниках крайнее обострение восприимчивости и чувствительности, горестный и ликующий восторг, ощущение стихийной гармоничности мира.

Вспомните «Незнакомку» А. Блока, ее завораживающую музыкальность, изощренную авторскую наблюдательность:

И вЕют дрЕвними повЕрьями  
Ее упрУгие шЕлка,  
И шляпа с траУрными пЕрьями,  
И в кольцах Узкая рУка.

«Все это так близко, так доступно, что вам хочется, напротив, создать тайну вокруг этой узкой руки и девичьего стана, отделить их, уберечь как-нибудь от кроличьих глаз, сказкой окутать», – признавался, прочтя эти строки, один из современников Блока, поэт И. Анненский.

А разве не окутывала сказкой, легендой своих героинь по законам эстетики Серебряного века и сама Анна Ахматова, и Марина Цветаева, и Николай Гумилев?

Этот век порождал «широко открытые глаза на весь милый, радостный и горестный мир, чтоб насмотреться на него и пить его каждую минуту последний раз» (М. Кузмин).

Художники Серебряного века – будь то поэты Андрей Белый и Сергей Есенин, живописцы Борис Кустодиев или Кузьма Петров-Водкин, артисты Вера Комиссаржевская и Всеволод Мейерхольд – дорожили каждым мигом, любыми случайными проявлениями бытия. Они были одержимы красотой, драматизмом жизни.

Мы на всех путях дойдем до чуда!  
Этот мир – иного мира тень,  
Эти мысли внушены оттуда,  
Эти строки – первая ступень, —

писал Валерий Брюсов. Прозрение какой-то высшей реальности, сокровенной сущности бытия лежит в основе художественных поисков поэтов Серебряного века.

Но, увы, не все так просто было в соблазнах и порывах этого бредившего красотой времени. Серебрянове-ковцы ощущали близость какой-то катастрофы, беды для России, предотвратить которую они не в силах. Они остро чувствовали обреченность, краткость своих дерзаний, видели опасность, нависшую над культурой, которую нес «век-волкодав». «Мне на плечи кидается век-волкодав», – скажет позднее, в 1931 году, Осип Мандельштам.

Анна Ахматова признается, что многие ее современники отчетливо слышали какой-то непонятный гул и старались спрятаться от его угрожающего смысла, подавить в себе возникшее смутное беспокойство.

Он почти не тревожил души  
И в сугробах невских тонул.  
Словно в зеркале страшной ночи  
И беснуется и не хочет  
Узнавать себя человек...

«Узнавать» себя пришлось, увы, многим – уже в эмиграции.

Это загадочное неповторимое сочетание одержимости жизнью, ее «музыкальным напором», редкого восторга перед непокоем бытия и ощущения близкой катастрофы, финала, уязвимости красочных миров, окутанных сказкой, – одно из непостижимых трагических очарований Серебряного века.

\* \* \*

Алексей Михайлович Ремизов вошел в литературу как традиционный русский правдоискатель, бунтарь, как «революционер без знамени». Он пришел с опытом тюрьмы и ссылки.

Будущий писатель-сказочник, мечтательный и набожный в юности, родился в Москве, в крепкой купеческой семье 24 июня 1877 года.

Дед Ремизова по матери, помнивший еще времена крепостничества, в молодости торговал вразнос галантереей, владел бумагоделательной фабрикой. Старший из дядьев писателя с материнской стороны, Н. А. Найденов, был уже председателем Московского биржевого комитета. Отец Алексея Михайловича изменил написание своей фамилии (не Ремезов, а Ремизов), не желая «происходить от птицы ремеза». Он не получил никакого образования, был учеником у галантерейщика Кувшинникова (сначала мальчик на побегушках, затем второй приказчик, наконец, доверенное лицо хозяина), а впоследствии сам имел две лавки – в Проломных воротах и в «Толмачах» (Б. Толмачевском переулке) и собственный дом.

Запомнил ли будущий писатель этих родичей? Одного из первоначальников достояния рода, еще так похожего на купцов-самодуров А. Н. Островского, Ремизов воссоздаст в романе «Пруд»: «Скрюченный, желтый кощей с лукаво-острыми глазами, помахивая своей зеленой бородой Черномора, наводил старик на всякого, с кем сталкивался, невероятный страх. Старики же крепко держались своего старшины, гордясь умом и упорством, с которыми вел кощей свою линию: „Николай не выдаст!“».

Выросший в старомосковской среде, Ремизов наверняка не мог не заметить, что русский купец, коммерсант в смазных сапогах, и своим-то богатством владел как-то беспокойно, лихо, по-разбойному, приумножая и теряя, жертвуя им словно в лихорадке. Погоня за прибылями нередко сменялась истовыми стихийными молениями в бесчисленных церквях, словно сама коммерция – творимый грех, требующий покаяния, отмаливания!

Своего рода формой отмаливания была у деда Ремизова, А. Е. Найденова, книжная страсть: он создал богатейшую библиотеку Московского биржевого комитета, дружил с известным историком И. Е. Забелиным. С иронической улыбкой мог, вероятно, оценить Ремизов колкую шутку И. А. Бунина, вопрошавшего в эмиграции его, безденежного потомка купеческого рода, – «Где ваша кубышка?»

«Он был убежден, что я прятал деньги... Бунин думал, что если не дворянского роду, а купеческого, то обязательно держат кубышку»<sup>2</sup>.

Родился Алексей Михайлович 24 июня, в день Ивана Купалы, когда вылезает на свет Божий нечистая сила и растворяются все клады на земле, приманивая доверчивых людей. Впоследствии с этим обстоятельством писатель будет связывать весьма многое.

С одной стороны, языческий праздник – способ разрушить жесткие границы обыденной действительности, открыть выход воображению, населить мир сознания добрыми, ручными чертями, бесенятами. А с другой – фантастические видения, «антимир» леших и чертей, мог – и это, видимо, произошло с Ремизовым – испугать ребенка напором хаотических стихийных сил. Позднее Ремизов так говорил: «Природа моего существа купальская: огонь и кровь. От

---

<sup>2</sup> Кодрянская Н. Алексей Ремизов. Париж, 1959. С. 118.

чистоты огня веселость духа. Веселость духа – мои крылья, а кровь – виноватость. В Купальскую ночь цветок папоротника, горя нестерпимым огнем, ожег мне глаза. В пламени цветка папоротника передо мной открылся клад...»

А Москва, этот, по словам И. Ильина, «колодец русскости»?.. Многое в творческом пути писателя становится понятным, если мы вообразим ушедшие ныне реальности Москвы, с которыми имела дело душа Ремизова – ребенка, юноши.

Москва – город, который будущий писатель вначале услышал, а лишь затем увидел. Услышал в затейливых речах и песнях кормилицы, калужской крестьянки, песельницы и сказочницы, в красочном звоне колоколов.

Поэт, литературный критик, коренной москвич Аполлон Григорьев в книге «Мои литературные и нравственные скитальчества» создал образ Москвы, почти не изменившийся и ко временам детства Ремизова. «Город-растение», «город-село», поражающий воображение обилием разбросанных исторических пластов – Москвы «ларинской», «фамусовской», Москвы «петровской», Москвы Островского и Москвы со страшными знаками эпохи Ивана Грозного. «Старые монастыри – это нечто вроде драгоценных камней в венцах, стягивающих в пределы громадный город-растение, или, если вам это сравнение покажется вычурным, – нечто вроде блях в его обручах... Старые пласты города стягивает обруч с запястьями – монастырями, состоящими в городской черте, – бывшим Алексеевским, упраздненным Новинским, Никитским, Петровским, Рождественским, Андрониевским; разросшиеся слободы стянуты тоже обручем горизонтальной линии»<sup>3</sup>.

В ремизовской Москве еще живо было слово как дыхание природной неписаной речи, не подчинявшееся, как говорил писатель, европейской указке. «С детства в мой слух незаметно вошло – песенный строй: лад древних напевов», – будет повторять Ремизов, подчеркивая пробуждение в себе «сверхличной общей памяти» об Андрее Рублеве, о Византии, о «загадочной материнской тайне» Родины.

Москва как «омут» («пруд» с живыми родниками), загадочный организм с его затаенной силой, гнездо, из которого бурями и смутами не выдуло тепло былой исторической жизни, будет присутствовать как антитеза Петербургу с прямизной его сквозных улиц в ремизовских «Крестовых сестрах», в «Часах», в «России в письменах».

Ремизов был не одинок в таком порыве, устремлении к былой Москве, к колокольному звону Андроникова монастыря, к огненной сини куполов, к сказкам, к неведомым заветным глубям родного языка.

Но возникает вопрос: откуда же вплелась в судьбу Ремизова, тихого, крайне совестливого юноши, влюбленного в «святую Русь», тюрьма и ссылка? А до этого привоз из Цюриха им же, студентом физико-математического факультета Московского университета, всякой нелегальной, «бунташной» литературы? С чего это он заступился за студентов-демонстрантов в 1896 году? А ведь пришел всего лишь посмотреть! И после стычки с полицией был арестован и выслан, как агитатор, вначале в Пензу, затем в Вологду.

Случайный арест мечтателя на московской улице – событие, приоткрывшее таившуюся до времени тоску Ремизова по состраданию, жертвенности, боязнь опоздать с жестом помощи страждущим и обиженным, его чувство, что чужого горя не бывает. Он – бунтарь, но он же и страдалец...

Его невеста, а затем жена и многолетний спутник жизни, вплоть до смерти в 1943 году в оккупированном фашистами Париже, Серафима Павловна Довгелло<sup>4</sup>, встреченная Ремизовым

---

<sup>3</sup> Григорьев А. Воспоминания и письма. Пг., 1917. С. 18.

<sup>4</sup> Серафима Павловна Довгелло (1876–1943), происходившая из рода украинского гетмана Самойловича и литовских князей Задор-Довгелло, была человеком необычайно ярким – и как ученый (в Париже она стала преподавателем палеографии в школе восточных языков), и как друг, советчик, «приучавший» Ремизова, ничего не навязывая, смотреть на мир отчасти ее глазами. Зинаида Гиппиус, мало кого любившая, «безумная гордячка», по определению А. Блока, относилась к ней

в ссылке, в Вологде, невольно объяснила и свою и его волю к подобному русскому бунтарству (и юродству), желание «революционерить», искать в жизни особый «мученический венец»: «Я не хотела „торжества“, я хотела „скорби“... мне было стыдно, что другие страдают, а я – я хотела *пострадать*»<sup>5</sup>.

Вот ведь как попадали иные праведники, годные для молитв, в огненную лаву революции!

Это признание почти дословно совпадает с тем, что впоследствии скажет о самом себе Ремизов, странный страдалец, искатель мук и боли, скажет, описывая свое состояние арестованного, конвоируемого в колонне по этапу. Он, скованный одной парой наручников с пятнадцатилетней проституткой Любкой, испытывает какое-то... удовлетворение от подвига, мук, даже от своего «позора»: «Все разламывало во мне до боли – но эта боль была совсем другая, совсем не та, когда за себя и за свое, это была боль за весь мир».

Безусловно, ни в какую узкую программу любой из тогдашних партий это гуманистическое боление не впишешь. Ремизов сам впоследствии в очерке «Савинков» (из книги «Иверень») ужаснется одномерности, жесткости характера этого профессионала террора: «Вне своего дела для него ничего не существовало.<...> Я не чувствовал с ним той свободы и легкости, я как-то сжимался.<...> Весь высеченным из камня...<...> Голоса ему не надо было – такие не могут петь – каменные не поют песен». А в Ремизове как раз и звучала песня, сказка, молитва...

Ссылные в Вологде, – а среди них были и этот «каменный» террорист Борис Савинков, и будущий убийца губернатора Москвы, великого князя Сергея Александровича, Иван (Янек) Каляев, и будущий нарком просвещения при Ленине А. В. Луначарский, и философ (тогда еще марксист) Н. А. Бердяев, – простили Ремизова, отошедшего от революции. «Для революции я не гожусь, но и вреда от меня никакого...<...> Все жили под знаком „революция“, а у меня было еще что-то, что было выше „революции“. У них было общее, а я хотел „по-своему“»<sup>6</sup>.

Это «по-своему» – даже на уровне названия, а тем более характеров и языка – сказалось уже в романе «Пруд» («Огорельшевское отродье», 1905), с которым Ремизов явился в Петербург в 1905 году, в среду символистов, после окончания ссылки и скитаний по России.

В чем состояла особенность звучания ремизовской ноты в общем «оркестре» литературных мнений и сомнений тех лет?

Что такое «пруд», почему именно это замкнутое, удручающе глухое, «безвыходное» пространство избрал Ремизов символом своего художественного мира? В атмосфере, когда не отзвучал еще предреволюционный призыв буревищика революции Горького: «Пусть сильнее грянет буря!», этот символ в романе Ремизова стал вызовом: он олицетворял застойное, явно «непроточное» состояние реки жизни. «Пруд» – это и роковой омут, и бездна страстей, и узел, клубок абсурдных положений в жизни героев. Современник и друг Ремизова М. М. Пришвин позднее выдвинет иную модель мира, природы – «Кладовая солнца». Здесь же – «пруд», т. е. точка какого-то тупика, места, где кончается, замирает не только буря, но всякое движение.

Может быть, Ремизов был излишне пессимистичен? Конечно, на создание именно такой модели целой эпохи – в романе изображена Москва конца XIX века с купеческим домом братьев Огорельшевых и Финагеновых – повлияли впечатления детства писателя. Но движение, драматизм отчаяния в романе все же есть. Только это движение скрытое, подспудное, именно ремизовское, далекое от игры политических страстей. Позднее Ремизов разъяснит свое понимание человеческой судьбы среди всяких призывов к прогрессу, среди всяких утопий, войн и

---

торженно и даже посвятила ей глубоко искренние строки: То бурная, властно-мятежная — То тихие вечернего дня: Заря огневая и нежная На небе взошла для меня..... Пусть люди, судя нас и меряя, О нас ничего не поймут. Не людям – тебе одной верю я, Над нами есть Божеский суд. Многоплановый, глубоко драматичный роман – часть трилогии «В розовом блеске» (1952) Ремизов посвятил судьбе Серафимы Павловны.

<sup>5</sup> На вечерней заре: переписка А. Ремизова с С. Ремизовой-Довгелло. Рим, 1986. С. 156.

<sup>6</sup> На вечерней заре. С. 153, 156.

революций, свершаемых «во имя», то есть ради каких-то отвлеченных программ: «Начало их за „освобождение“ во имя „блага человечества“, а продолжают, как спорт, – кто кого переплюнет, а конец – сам черт шею свернет и ногу сломит. И это нисколько не меняет дела, остается „во имя“, и тут „я“ ни при чем, а именно „другой“ – другие – „блага человечества“. А поздоровилось ли кому, хоть когда-нибудь от этого „блага“? Среди цветов и зорь, под проливным небом звезд – человек страждет.

И как прожить человеку без мечты о какой-то человеческой, своевольной, не таковской жизни, на чем отвести душу в свой горький век на трудной, а зачарованной земле?» («Иверень»).

Действительно – как? Роман «Пруд» – о сострадании к отдельному человеку, в данном случае – главной героине Варе, в образе которой легко угадывается мать писателя, прожившая в застылой, «прудовой» среде стяжательской родни безрадостную жизнь.

Мария Александровна Найденова, мать Ремизова, – чем не Катерина Островского, этот луч «света в темном царстве» купеческого мира? – вышла замуж из гордости, назло некоему художнику Н., которым пылко увлеклась в юности в Московском Богородском кружке (этот нигилистический кружок фигурирует еще в романе Н. С. Лескова «Некуда» под именем «Сокольнического») и который не оценил ее чувства. Груз мести (она вышла за вдовца с пятью детьми) – посилен ли он для женской души? Шальное, наугад, замужество с М. А. Ремизовым, поездки с ним в Вену, рождение еще четырех детей в новом браке не развеяло обиды на жизнь. «И вот срок мести, что вышла замуж назло, кончился. Без всякого к тому внешнего повода она решает забрать детей и уехать к братьям – в дом, где она родилась», – вспоминал на склоне лет писатель. Мать Ремизова, страстная душа, обломок глухой трагедии, дожила до 1919 года, одиноко, замкнуто, – в последний раз писатель увидел ее в сентябре 1917 года.

Роман «Пруд» и новые произведения Ремизова – книга сказок «Посолонь» (1907), повести «Крестовые сестры» (1910), «Часы» (1908), «Неуемный бубен» (1910), «Пятая язва» (1912), в которых писатель выражал свой взгляд на судьбу России в межреволюционные (1905–1917) годы, – займут свое исключительно самобытное место в мире символистов, в сознании крупнейших мастеров русской прозы и поэзии, философии и музыки: А. Блока, М. Горького, И. Бунина, И. Шмелева, В. Розанова, композиторов А. Прокофьева, И. Стравинского, А. Лядова... Ремизов запомнился всем как художник трагической памяти, ведущий своих героев с крестной ношей по жизни, поработанной временем, людской разобщенностью, страхом перед грядущим.

И в новых его произведениях жизнь представляла как очередной вариант «пруда». Она обрекала героев на своеобразный плен, скованность, на «полонное терпение» (от древнерусского слова «полон» – «плен»). И порой не найти – верил писатель – причин несчастья, горя, беды, виновников нескладной жизни. «Обвиновать никого нельзя», – к этой мысли приходит, например, герой повести «Крестовые сестры», мелкий чиновник Маракулин, ремизовский Акакий Акакиевич, живущий в застылой атмосфере очередного «пруда» (им является доходный жилой дом, Бурков двор, на задворках Петербурга). Да и как виноватить кого-либо, если... Современники Ремизова – и среди них был скупой на похвалы в чужой адрес писатель и драматург Леонид Андреев – поразились остроте тревог автора «Крестовых сестер», тревог, выраженных и в сюжете повести – в муках, скитаниях одинокого Маракулина и в его рассуждении о том, что ныне «человек человеку бревно». Он изумлен, что жизнь вообще «деревенеет», превращается в дровяной склад. И немного как будто Ремизов изменил в традиционной древней формуле «человек человеку волк», но какое мучительное раздумье, отраженное и в повести, и в длительных беседах писателя, стояло за этими словами! Парижская собеседница Ремизова – Наталья Кодрянская вспоминала его рассказ о создании «Крестовых сестер»: «Праздных вопросов у меня не было. Первое, о чем я спросил себя: что есть человек человеку? Классическое „волк“ мне казалось мало: что ж волк, волк зарежет овцу, и крышка. Мучиться

не приходится: „волк съел“. Нет, в жизни не так просто. И никто никого есть не собирается. Нет, полное равнодушие. Человек человеку бревно! Потом я прибавил к „бревну“ „подлец“. Если человек-бревно пошевелится, то совсем не затем, чтобы облегчить беду другого человека, нет, а воспользоваться чужой бедой и поживиться. Слово „подлец“, а для меня созвучно с „подлезть“. Но я встречал и в „бревне“ не только подлость, но и самоотверженную любовь и прибавил к „бревну“ и „подлецу“ – „человек человеку – дух-утешитель“»<sup>7</sup>.

К счастью, этот «дух-утешитель» вскоре ожил и для самого художника, явил себя в сказках, легендах, апокрифах, в стихии русского языка.

Собственно говоря, и в романе «Пруд», и в повести «Часы» «непроточность», застылость жизни оказывается часто мнимой, обманчивой: со дна ремизовских «прудов», из сердцевины «полонного терпения» в разных бурковых дворах то и дело словно пробиваются чистейшие ключи доброты, совестливости, протеста. Ремизов никогда не забывал, что русская литература внесла в мировое сознание прежде всего понятие «совести», да и вся русская культура, по словам выдающегося композитора XX века Г. В. Свиридова, «неотделима от чувства совести» и всегда остро ощущала «опасность лишиться этой высокой нравственной категории»<sup>8</sup>.

Странный протест, бунт против власти бессмысленного хода, неостановимого бега стрелки часов, как будто сковавшего жизнь, овладевает в повести «Часы» самым униженным, обделенным вниманием и лаской героем – Костей Ключковым, «мальчиком» из часового магазина. Мрачное однообразие, скука на «Поперечно-Кошачьих» улицах, вечные прилипчивые к нему клички «идиот», «ворона», «дурак», полное неуважение и одновременно какое-то застылое отчаяние хозяйки магазина, Христины, – все это толкнуло мальчика на невероятный, головокружительный шаг: он захотел остановить часы на колокольне Соборной площади и тем самым изменить уродливо текущую жизнь, «сломать само Время», победить власть роковых сил, стоящих за этими стрелками.

Ремизов, конечно, вновь сгущает тяжесть плена, задавленности человека тараканьим бытом былой провинции, здесь он – прилежный ученик Достоевского. И крик Мармеладова из «Преступления и наказания»: «Бывает такое время, когда непременно надо хоть куда-нибудь да пойти!.. Ведь надобно же, чтоб у всякого человека было хоть одно такое место, где бы и его пожалели!» – на свой лад звучит и в произведениях Ремизова. Только он, видоизменяясь, выражается в фантастических решениях.

Да как же можно сломать Время?

Ключ от часов – удивительная метафора Ремизова! – кажется герою повести волшебной палочкой, жезлом хозяина, верховного устроителя жизни: «И он убьет время – проклятое! – убьет его с его часами и освободит себя, всю землю и весь мир. Там, на земле, ноги его не будет, он не сойдет с колокольни, не исполнив своего дела. И если понадобится, он полезет выше, на самый купол, он ступит на крест и дальше... он готов лезть на облака».

Сказки «Посолонь», своеобразно продолженные в эмиграции книгой «Россия в письменах», сказкой «Царь Додон» и обработкой на сказочный лад легенды «О Петре и Февронии Муромских» свидетельствуют о том, что Ремизов не был столь мрачен и пессимистичен, как может показаться после прочтения некоторых его ранних романов и повестей, что он имел свою «одержимость», что не напрасно А. Блок часто опирался на Ремизова в поисках национальных начал, тайны и загадки России<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Кодрянская Н. С. 88–89.

<sup>8</sup> Свиридов Г. В. Музыка как судьба. М.: Мол. гвардия, 2002. С. 116.

<sup>9</sup> А. Блок, вероятно, был изумлен, но не обижен, когда именно Ремизов в 1905 г., после прочтения его «Стихов о Прекрасной Даме», написал ему: «Читал вчера о Хождении Богородицы по мукам, напал на стих: Ах! там плыла прекрасная дева. Она плыла по ненасытному аду. Мальчика несла она на руках. Почему Вы не назвали книгу: „Стихи о прекрасной Деве“? „Дама“ в

Современная исследовательница взаимоотношений А. Блока и А. Ремизова – З. Г. Минц отмечала, что «ремизовское чувство России привлекало Блока... совершенно иным, чем у самого поэта, к ней подступом», что «писателей роднили постоянная, тревожная и любовная мысль о России, представление о родине как о главной человеческой ценности»<sup>10</sup>. Это ремизовское чувство Родины, даже языческой «прародины», породило и его толкование народных мифов и детских сказок в «Посолони», и особенно язык этой удивительной книги. В годы работы над «Посолонью» в Ремизове окрепло чувство «вины» перед языком допетровской эпохи, перед той памятью (в мифах, суевериях, «русалиях», в играх скоморохов и т. п.), которая в итоге реформ Петра I «потеряла власть над умами и оказалась где-то внизу, в пережитом историческом слое, многократно перекрытом последующими, более новыми наслоениями»<sup>11</sup>. Для Ремизова эта подпочва была столь плохо «прикрыта» культурными слоями – и это при всей любви к Пушкину, Гоголю, Достоевскому, Тургеневу! – что он искренне считал возможным расслышать русский природный лад, оживить беллетристику пересказом народных сказок. «Слово – живое существо: подаст свой голос», – говорил он. Оно и «подало» этот голос.

«...Книга сказок А. Ремизова – яркая, простая, кристально-прозрачная, детская, – писал известный литературовед, социолог, идеолог народничества Р. В. Иванов-Разумник. – А. Ремизов вовсе не уходит от жизни. Всем своим творчеством показывает он, что царство „Святой Руси“ – поистине внутри нас, по крайней мере тех из нас, которые способны чувствовать всю поэтическую прелесть народного „мифотворчества“, всю глубокую детскую мудрость народных верований, понятий, представлений»<sup>12</sup>.

К «Посолони» Ремизов предпослал своеобразную интродукцию, стихотворный пролог, в котором он на свой лад обосновывал право на уход в мир сказок, сновидений, право на идеализацию русского сказочного фольклора. «Уйдем мы отсюда, уйдем навсегда», – словно звал он всех, кто страдал душой в каменном Петербурге. Куда уйдем? В страну, где «злую судьбу не прокаркнет птица-вещунья», где «мимо на ступе промчится косматая ведьма», где «мимо за медом-малиной Мишка пройдет косолапый»...

Они не такие...  
Не тронут.

Надо сказать, что в эту страну, в «прекрасное далеко» сказок, былин, русская культура в короткое время Серебряного века устремлялась с особой жадностью. Вспомните только прекрасные иллюстрации современника и ровесника Ремизова – художника И. Я. Билибина к русским сказкам (1899–1902), к пушкинским «Сказке о царе Салтане...» (1904–1909) и «Сказке о золотом петушке» (1906–1907). Читатель тех лет словно по-новому увидел Пушкина – с пролетающей на ступе Бабой-ягой, с заблудившейся в темном лесу Василисой, с древнерусскими теремами. Рядом с этим книжным ансамблем Билибина возникла в эти же годы и стихотворная вариация этого сказочного мира – книга «Ярь» (1906) С. Городецкого и музыкальная его версия – балеты композитора И. Ф. Стравинского «Жар-птица» (1910), «Весна священная» (1913).

---

глубинах Geista („духа“ в пер. с нем. – В. Ч.) русского языка никогда не скроется» (Из письма А. Блоку 17 апреля 1905 г.). Не правда ли, какая оригинальная, идущая из глубин сердца, из какого-то «колодца русскости» оценка? В самом деле, «дама», «мадам» – слова интернациональные, случайные для русского языка, не укорененные в его природной стихии, что, впрочем, не отменяет другого, мелодического богатства блоковского лирического цикла. Но ведь Богородица, Святая Дева – это путь в глубины православия, путь к Рублеву, к иконе, этому «умозрению в красках».

<sup>10</sup> Литературное наследство. Т. 92, кн. 2. М., 1981. С. 71.

<sup>11</sup> Миллоков П. Н. Очерки по истории русской культуры. 4.1. СПб., 1900. С. 178–179.

<sup>12</sup> Иванов-Разумник Р. В. Творчество и критика: статьи критические. 1908–1922. Пг.: Колос, 1922. С. 58–78.

Эти балеты, имевшие грандиозный успех, были представлены Парижу известным театральным и художественным деятелем, пропагандистом русского оперного и балетного искусства за рубежом, основателем (вместе с художником А. Бенуа) объединения «Мир искусства» С. П. Дягилевым. Их постановки были задуманы как грандиозная выставка забытых, не затронутых ни Н. А. Римским-Корсаковым в его операх-сказках, ни А. Н. Островским в пьесах, ни художниками-передвижниками, и даже В. Васнецовым, богатств фольклора, преданий и мифов еще языческих времен. Все это были не просто поэтические или музыкальные реконструкции «старины глухой», но глубокие по смыслу раздумья, догадки о судьбах России, прочтение тайн русской души, родственной безбрежным далям, сказочным мирам Русской земли.

Влияние творчества В. М. Васнецова, Н. К. Рериха и древнерусской живописи, в особенности иконы, сказалось даже в архитектуре тех лет, в «русском модерне» (здание Исторического музея, Казанский вокзал в Москве, построенное в 1913 году в виде старинных палат здание Нижегородского банка с росписями И. Я. Билибина).

Ремизов тоже собрал в «Посолони», очистив от сюжета, от назидательности, образы славянской языческой нечисти: кикимор, калечин-малечин, билибошек, персонажей из свиты Кощея, и поместил их в необычное красочное и звуковое пространство. «Слово, звук и цвет – одно. То, что звучит, то и цветет», – говорит он. И доньше не потускнели, не выцвели краски этого чудесного, будто расшитого полотна: «Зацвели **белые и алые маки. Голубые** цветочки шелкового льна морем разлились по полю. Белая греча запорошила **прямым снегом** без конца все пути. Встали по тыну, как козыри, **золотые** подсолнухи. Сухим **золотом-стрелками затеплилась липа, а серебряные овсы и алатырное** жито раскинулись и вдаль и вширь; неоглядные, обошли они леса да овраги, заняли округ **небесную синь** и потонули в **жужжанье и сыти дожатвенной жажды**» («Черный петух». Здесь и далее выделено мной. – В. Ч.).

Современники прекрасно почувствовали густоту, плотность красок ремизовской «Посолони», близость его образов к живописи «Мира искусства», отчасти примитивистов. Стихийная жизнь природы обрела свой язык в «Посолони», язык, требующий повышенного внимания, активного постижения. «**Лес в пожаре горит и горит**», «собиралась заря в **восход взойти**»; «шумный колос **стелет по ниве сухое время**» – подобный язык не имеет «пустот», зияний, он весь состоит из бликов, корней слов.

В сказках «Медведюшка» и «Змей» звучит мысль о вечности и неистребимости жизни, о том, что никому нельзя запретить цвести и радоваться на мир Божий: ни цветку, ни зверюшке, ни малой пташке. Сколько доброй иронии в «совете» дятла медвежонку: «Человека остерегайся, глупыш!.. Человеки тебя в цепь закуют. Вон Скворца Скворцовича изловили, за решеткою теперь, воли не дают. Летал к нему – „Жив, – пищит, – корму вдосталь, да скучно“. У них все вот так!» И по сравнению с этим естественным хрупким миром природы мир игрушек становится детям скучным: «Игрушкам тоже зима надоела».

Никого из друзей Ремизова не обманула детскость, простодушие пересказа, прирученность всех бесов, бесенят, кикимор, черных петухов, змеи Скоропеи или Ильи-Громова. А. Блок в 1910 году в статье «Противоречия» заметил, что улыбка Ремизова лишь внешне детская, утешающая, приглашающая забыть про страшный мир. На самом деле он всегда показывает нам «весьма реальный клочок нашей души, где все сбито с панталыку, где все в невообразимой каше, летит к черту на кулички».

По мере приближения бури – войны 1914 года, двух революций 1917 года – Алексей Ремизов продолжал и углублял свою «реконструкцию» сказочных и христианских миров в духе особого, не официального, а «народного христианства», имевшего часто языческие корни. Он настойчиво утверждал, что Русь не знала и не узнает мук «богооставленности», что ее не покинут все святые, в Русской земле просиявшие, что их заветы живут в обрядах, играх, суевериях, балагурье, притчах, пословицах, сказках. Но излагал он эти идеи весьма своеобразно. Вместо

канонической Троицы – как на известной иконе Андрея Рублева – он прославлял иную, более земную, народно-христианскую Троицу – это Христос, Богородица, Никола Мирликийский (покровитель Руси). В его книгах «Николины притчи» (1917) и «Россия в письменах» (1917), Никола-угодник, добрый седенький старичок с посохом в руках, обходит Русскую землю. Он опаздывает на совет к Илье-пророку, главному из русских святых.

«– Что, Никола, что запоздал так? – спросил Илья. – Или и для праздника переправляешь души человеческие с земли в рай?»

– Все с своими мучился, – отвечал Никола, присаживаясь к святым за веселый золотой стол, – пропащий народ: вор на воре, разбойник на разбойнике, грабят, жгут, убивают, брат на брата, сын на отца, отец на сына! Да и все хороши, друг дружку поедом едят.

– Я найшу гром-молнию, попалю, выжгу землю! – воскликнул громовный Илья.

– Я росы им не дам! – поднялся Егорий.

<...>

– Смерть на них! – стал Михайло-архангел с мечом.

– Велел мне ангел Господень истребить весь русский народ, да простил я им, – отвечал наш Никола Милостивый, – больно уж мучаются.

И, восстав, поднял чашу во славу Бога Христа...» («Никол а-угодник»).

Пожалуй, в подобных изложениях мифов, поверий, в этих «заботах святых о бестолковых детях России», в тревогах: да что же еще они натворят со своей жадной пострадать за всех! – звучала уже тема и «Окаянных дней» (1917) И. Бунина, и «Несвоевременных мыслей» (1917–1918) М. Горького, и даже «Солнца мертвых» (1923) И. Шмелева. Ремизов словно предвидел трагический слом русской истории в 1917 году.

И не случайно уже после Февральской революции писатель одним из первых попытался «образумить» стихию слепого бунта, жуткого и безоглядного разрушительства (не отвергая самой идеи борьбы за свободу, за раскрепощение народа, идею обновления России). Дух справедливости, боли и надежды не умирал в нем. И в полной мере он выразился в двух неожиданных, новых для тогдашней прозы и поэзии произведениях, шедеврах лироэпической публицистики, поэмах в прозе – «Слове о погибели Русской земли» (1917) и «Заповедном слове русскому народу» (1918). Подобно А. Блоку (в поэме «Двенадцать») Ремизов увидел не идеализированный народ, не условного «человека с ружьем», а «взвихренную Русь», суровый Петроград, где действует лозунг: «Грабь награбленное». И обратился к старинному жанру плачей.

Чтобы в должной мере оценить беспокойный, надрывный язык этих плачей, написанных в духе причитаний, молений, слезных вопрошаний, надо помнить, что они адресованы к читателю (и слушателю), опьяненному риторикой митингов, агиток, листовок. Ровным, спокойным тоном с такой аудиторией говорить нельзя. Эти плачи обращены либо прямо к Руси («О, моя родина обреченная, пошатнулась ты, непоколебимая»), либо к усталому, растерянному народу, запутавшемуся среди лозунгов, утратившему путь среди политических «мигалок» («Русский народ, что ты сделал? Искал свое счастье и все потерял. Одураченный, плюхнулся свиньей в навоз. <...> Землю ты свою забыл колыбельную»).

Плачи – это вид бессюжетной, лирической, «орнаментальной» (т. е. узорной, украшенной, с повторами) прозы. Такая напевная проза вообще возникала на Руси в час катастроф или накануне их. И потому словесные фрески Ремизова напоминают картины Страшного суда.

У ремизовского «Слова о погибели Русской земли» обширнейший литературный и общественный контекст – от «Апокалипсиса нашего времени» (1917–1919) В. Розанова до поэмы «Двенадцать» (1918) А. Блока. Впрочем, даже сугубо интимные дневники многих выдающихся современников Ремизова в 1916–1917 годах тоже были окрашены трагической патетикой и риторикой отпевания России, гибели ее, конца света. Об этом свидетельствуют, например, «Петербургские дневники» З. Н. Гиппиус 1914–1919 годов, где без конца звучат восклицания и моления:

«Бедная Россия. Да опомнись же!» (22 февраля 1917)  
«Бедная земля моя. Очнись!» (23 февраля 1917)  
«Неужели – поздно?»

...И вот Господь неумолимо  
Мою Россию отстранит...»

(4 сентября 1917)

Как возникло такое «апокалиптическое» мироощущение у людей из окружения Ремизова, у многих представителей петербургской интеллигенции, не исключая и М. Горького, автора «Несвоевременных мыслей»? Ведь многие из них и в 1905 году, и задолго до него, в годы затишья, «страшного мира», буквально призывали очистительную бурю, ждали революцию, на свой лад звали Русь к топору. Увы, «мечта была мила как дальность» (В. Брюсов). Реальная революция оказалась не просто грубей, кровопролитней, но – такова ирония истории! – часто, во многих случаях вопреки воле В. И. Ленина, А. В. Луначарского и других ее вождей и сторонников, даже враждебной изысканной культуре А. Блока, С. Рахманинова, Ф. Шаляпина... Гибель же культуры, духовно-нравственных основ народа и предстала перед Ремизовым как гибель Русской земли. Не будем бояться его гипербол.

Стиль «Слова...», его патетика, весь эмоционально-образный строй тоже имеют свой контекст. Февральская революция 1917 года породила (и пробудила) в сознании петербургской интеллигенции чрезвычайно много специфически художественных видений, грез, «знаковых» – идущих от образов библейского потопа, конца света, нашествия гуннов или монголов – систем катастрофы. Язык книги, уроки многолетнего чтения были у всех на слуху...

О Революция, о Книга между книг!  
Слепили кровь и грязь высокие страницы.  
И, как набат, звучит твой яростный язык,  
Но нет учителя и некому учиться...  
Не в зареве домов за письменным столом —  
На черной площади, под барабанным боем  
Мы книгу грозную, как знамя, понесем,  
Но святотатственно ее мы не раскроем.

Какая истина в твоей неправде есть?  
Пустыня странствия нам суждена какая?  
Сквозь мертвые пески, сквозь Голод, Славу, Мечь  
Придем ли наконец к вратам небесным Рая? —

так вдохновенно, опираясь бесспорно на Священное Писание, писала в те судьбоносные годы поэтесса Ел. Полонская. Революция для нее – это странствие через пустыню к земле обетованной и одновременно «Книга», полная загадочных знаков, символов веры. Она же – и конец света, и рождение новых миров.

Стилистически Ремизов, автор «Слова...», работал в зоне эстетического риска: еще чуть-чуть – и патетика, крик боли станет... риторикой! Но спасает его уникальная чуткость и воля – найти человеческую меру событиям, не умаляя их, но и не возвышая искусственно с помощью, скажем, библейских фигур вроде шествующего у А. Блока во главе революционной толпы Христа. Его отчаяние, переходящее порой в крик боли, рождено, скорее всего, надеждой на отрезвление, на положительный опыт истории, на чистоту родников во глубине России.

Ремизовская поэма по суровости картин, печальности пророчеств, общему «апокалиптическому» тону – своего рода прощание с поэтикой символизма, с гладкими стекляшками стихов, розовых утопических обманов, несбыточных надежд. В. Брюсов в эти же дни по-ремизовски сурово обращался к былым сподвижникам:

...Иль вам, фантастам, иль вам, эстетам,  
Мечта была мила как дальность?

Читатель заметит, конечно, что в «Слове...» Ремизова нет ни единой ноты реставраторских мечтаний, нет надежд вернуть все «на круги своя». Он страдает, но не ищет для себя утешения, которое в эти дни искала та же З. Гиппиус. Она, веря и не веря, теряя нить надежды, все же нашептывала себе, что авось все вернется к старому, успокоится, что революция «выгуляется» и выкричится на улицах, выпустит пары на митингах, упьется кровью и присмирится. З. Гиппиус с гневом предсказывала именно усмирение:

И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой,  
Народ, не уважающий святынь!

Время показало, что тихоголосый, печальный Ремизов был куда прозорливее в своих тревогах и мольбах, в своей вере в единственный – и плохой, и хороший – народ.

В отличие от «Слова о погибели Русской земли» опасность риторического холода, расужденчества в «Заповедном Слове русскому народу» как бы умело отодвинута, почти устранена. Ремизов здесь использовал мотив «шествия», характерный и для фольклора, и для всей системы, «лада» народной эстетики (вспомним «шествия» фигурок, зверей на фронтонах северной избы, на скатертях и полотенцах и т. п.). «Иди, Каин, иди!» – восклицает повествователь, обращаясь к шествующему вдаль русскому народу, планетарному мученику и «злодею», в какой-то миг потерявшему нравственные ориентиры, не знающему больше святынь, границ между добром и преступлением.

Кто этот исполин с ружьем, крушащий все вокруг себя, вторгающийся в храмы, разрушающий культуру? Он похож на героя известной картины Б. М. Кустодиева «Большевик» (1918), шагающего с флагом через улицы и даже города. Но Кустодиев чересчур «праздничен», даже «масленичен» (а ведь революция не Масленица!) для событий, которые и он и Ремизов наблюдали в Петрограде в 1917–1918 годах.

Как мог сложиться этот собирательный образ – злодея, но усталого, «не убежденного», мученика, но какого-то лихого, разбойного, непокорного, страшного для других, но ужасающего и себя самого – у Ремизова? Где же былой народ-богоносец? Где Платоны Каратаевы и Алеша Карамазовы? «Россия – страна всех возможностей, сказал кто-то. И страна всех возможностей, прибавлю я», – писала З. Гиппиус, оцепеневшая перед этой же внезапно явившейся фигурой.

В своей маленькой поэме, чрезвычайно созвучной нашим дням, Ремизов своеобразно спорит и с поэмой «Двенадцать» А. Блока, где тоже варьируется тема шествия, крестного пути. «Вдаль идут державным шагом...» – писал Блок в «Двенадцати». В какую «даль»? Не искажают ли и саму цель, и святость пути те средства, которыми достигается цель?

Ужасное скопище глумливых воров и насильников как-то надо освятить, облагородить. И Ремизову, не знающему, как улучшить, «восполнить» историю, остается только взывать к «Каину»: «Брат мой, пожалей себя. Пожалей и меня. Ненависть свою сожги на горячем костре скорби мира всего из любви, осиянной крестом...» Как видим, без «креста» (а по существу, и проповеди Христа) Ремизов, как и Блок, обойтись не мог.

В обоих плачах и в романе «Взвихренная Русь» (1927) часто выступает на сцене – исторической, петербургской – солдат, человек с ружьем, живет улица толпы. В хронике «окаянных дней», то есть во «Взвихренной Руси», Ремизов воссоздает предчувствие массового грабежа, кровопролития, гибели культуры: «Автомобили с лежащими солдатами, целившимися прямо в тебя; автомобили со всяким сбродом, увешанным красными лоскутками; солдаты, бегающие с ружьями наперевес, словно не по-настоящему, а в игре...

Пошатываясь, шел навстречу здоровенный солдат.

– Какое дело! – остановился он. – Стрелять придется.

– В кого?

– В кого прикажут.

– Да разве можно в своих стрелять?

– Верно, нельзя! – И, шатаясь, пошел, бормоча».

«Взвихренная Русь» – одна из замечательных страниц коллективной «петербургской эпопеи». И ее место рядом с такими разноплановыми художественными документами эпохи революций, как «Двенадцать» А. Блока, «Несвоевременные мысли» М. Горького, «Сумасшедший корабль» О. Форш, статьи А. Белого на тему «Революция и культура» (одна из его работ 1917 года имела такое название), «Лица» Е. Замятина. Андрей Козин, зарубежный комментатор этой книги Ремизова, опирающийся на богатейший материал, назвал «Взвихренную Русь» мозаикой: «Отдельные кусочки смальты в мозаичном изображении шероховаты, неплотно пригнаны друг к другу, но солнце играет на их неровной поверхности, особенно же отсвечивает на кроваво-красных, бурых, как запекшаяся кровь, и траурно-лиловых тонах. <...> Страшный – ив чем-то пленительный, смертной мукой объятый, – и продолжающий еще жить, по инерции, статься может, – но продолжающий еще в те дни жить какими-то исконными традициями русской культуры и русской мысли Город Петра... Живет и не живет»<sup>13</sup>.

Находясь всецело внутри замкнутого интеллигентского круга, воспринимая многие события, невзгоды быта как некое грандиозное театральное действие, Ремизов во «Взвихренной Руси» изучает нарастающее кризисное, даже катастрофичное состояние близкого ему круга людей и идей.

В статье «Заповедное слово к русскому народу» (1918), в книге «Шумы города» (1921), в своеобразной книге писем – своих и философа В. В. Розанова – «Кукха» (1923) Ремизов передает растущее отчаяние, боль от «дубоножия», то есть крайностей разрушительства, безрассудного ожесточения. По нелепому обвинению в заговоре он, археолог языка, «человек-перо», далекий от политики и блудословия партий, будет даже арестован в феврале 1919 года (вместе с А. А. Блоком, Е. И. Замятиным, К. С. Петровым-Водкиным, пушкинистом С. А. Венгеровым). Правда, через несколько дней его после хлопот Горького и Луначарского выпустят. Но в это же «взвихренное» время умерла в Москве мать писателя, скончался в холодном и голодном Сергиевом Посаде его друг В. В. Розанов (1919), был расстрелян в 35 лет Н. С. Гумилев, этот «колдовской ребенок», поэт-рыцарь, называвший свою музу – Музой Дальних Странствий. В 1921 году ушел из жизни А. А. Блок. Он умер как бы с застывшим на устах вопросом ко времени: «Почему пропала музыка из событий, которые поэзия так долго ждала, предугадывала и призывала?»<sup>14</sup>

Эти вопросы на свой лад задавал самому себе и Ремизов перед вынужденной эмиграцией. И самый суровый удар, который жизнь нанесла в эти годы писателю и его жене Серафиме Павловне Довгелло, состоял в том, что их дочь Наташа, единственный ребенок, которую они,

<sup>13</sup> Козин А. Комментарии // Ремизов А. Взвихренная Русь. London, 1979. С. 538.

<sup>14</sup> «Когда я спрашивал у него, почему он не пишет стихов, он постоянно отвечал одно и то же: – Все звуки прекратились. Разве не слышите, что никаких звуков нет?.. Было бы кошунственно и лживо припоминать рассудком звуки в беззвучном пространстве», – вспоминал о неповторимом безмолвии поэта К. И. Чуковский (Судьба Блока. Изд-во писателей в Ленинграде, 1930. С. 255).

некогда спасая от богемной, сумбурной жизни в художественном Петербурге, отдали на воспитание в село Берестовец, живописное имение родителей Серафимы Павловны на Украине, так отвыкла от их среды, что отказалась ехать с родителями на чужбину. Ни ее, ни внука Бориса, появившегося позднее уже в СССР, Ремизов никогда не увидит.

Произведения Ремизова эмигрантских лет – начиная со «Взвихренной Руси», романов «Учитель музыки» (1949), «В розовом блеске» (1952) и книги «Огонь вещей» (1954) – это возвращение памяти России. В этом смысл всей подвижнической деятельности писателя в Париже. Именно эта сверхзадача определила успех воссоздания картин старомосковской жизни в книге «узлов и закрут памяти», названной – в знак протеста против «среднего глаза», самодовольной середины – «Подстриженными глазами» (1951). Сбережению памяти России способствовало и появление своеобразного исследования «Огонь вещей» – о природе снов как параллельной реальности в книгах Гоголя, Тургенева, Достоевского и неустанная борьба Ремизова за «природный лад русской речи».

До Ремизова о снах в русской литературе, – а кто не помнит «вещий сон» в «Слове о полку Игореве», сны у Гоголя и Тургенева, расчетливо введенные сны Веры Павловны у Чернышевского! – так подробно никто, пожалуй, не писал. Собственно, и во «Взвихренной Руси» уже являются сны – как часть хроники, как материал событий, портретов, частицы сюжета. Это особые сны – сны смутного времени. Но в «Огне вещей» речь идет об иной сновидческой реальности. Ремизов толкует сны не как психолог, хотя его идея о «вийном пространстве» (от названия повести «Вий») у Гоголя и с психологической точки чрезвычайно интересна: вся жизнь Гоголя – великий вещий сон о России...

Важнее все же другое. В своем исследовании сновидений, вещих снов в произведениях Пушкина, Гоголя, Тургенева Ремизов одновременно и утопист и реалист. Он верен высокой этической традиции русской литературы. Источником возникновения «сонной реальности» у Гоголя и Тургенева, Пушкина и Достоевского являются не загнанные в подсознание физиологические инстинкты героев. Сновидец Гоголь для Ремизова – это великий освободитель скрытых, но связанных именно генетической памятью с глубинами русской духовности человеческих страстей. «Прочитайте „Вечера...“ Гоголя... и самому «бессонному» приснится сон. А это значит, что слово вышло из большой глубины, а накалено на таком пламени, что и самую слоновою кожу прожжет», – признает он.

Какой упрек современной прозе – разумно-расчетливой, без накала, с едва теплющимся пульсом!

Связь гоголевских фантазмагорий, карнавалов, миражей с поэтикой романтизма или фантастикой Э. Т. А. Гофмана Ремизов напрямую не прослеживает. Он накладывает на гоголевские или пушкинские сны игру своих иллюзий и мятежных чувств, создает из «сна» Гоголя или Тургенева еще один, свой «сон» о России. Это соединение двух реальностей, часто вне законов логики, создает в «Огне вещей» совершенно уникальные, многомерные портреты и Тургенева-сновидца, и Достоевского, создателя рассказа-сновидения «Скверный анекдот».

Как не заинтересоваться – при анализе образов Гоголя – ремизовскими наблюдениями над Ноздревым с его плутовской жадью вечно что-то менять на что-то, не согласиться с ремизовским пониманием «маниловщины» как «человечности», даже донкихотства. И совсем уж неожиданно его суждение: «Гоголь богатый: не одна, а две тройки – Ноздрев – Чичиков – Манилов и Коробочка – Плюшкин – Собакевич». Может быть, все это достаточно субъективно, не без озорства высказано – мы и реальную-то тройку, нехитрый дорожный снаряд, с трудом воображаем, – но интересна и эта тина мелочей, сумятица, слепой туман, все гоголевское сцепление образов и суждений.

Только Ремизов смог, например, уловить, что «сон и мечта одного порядка», что сон подлинный резко отличен – и в произведении! – от сна сочиненного: подлинный сон «со всей

своей несообразностью проходит не под знаком Эвклида и вне всякой логики, а и самое фантастическое сочинение непременно трехмерно и логично».

В наше время, когда в литературе после М. А. Булгакова, А. П. Платонова умирает дерзкое воображение, связанное с постижением скрытых, неявных сторон реальности, человеческого сознания, когда литературе часто угрожает «тепловая смерть» как последний итог описательности, бескрылости, работа Ремизова становится серьезной опорой в борьбе со стереотипами массовой культуры, с летаргией вдохновения. И одновременно – с искусством абсурда, с апологетикой полной бессмысленности бытия.

Мысль о России, о том, что она будет приютом для его книг, о русском языке, который еще станет великим и могучим, поистине спасала Ремизова среди эмигрантской безытности. «Активность» его воспоминательной мысли поразительна. Он воссоздает образы Шаляпина, Дягилева, Горького. Ему бесконечно дорог «пляшущий демон» – выдающийся русский танцовщик С. М. Лифарь (1905–1986). Книгу с таким названием он пишет в 1949 году. Но особенно часто он вспоминает – и ближе по чувству природности русского языка фигуры нет! – протопопа Аввакума и его необыкновенное Житие...

Парижская квартира писателя на улице Буало, 7, в престижном ныне 16-м районе столицы, долгие годы была и лабораторией его, археолога, рудознатца языковых пластов XVII века, века Аввакума, и заметным причалом для всех, кто дорожил богатством русского Слова. Ремизов, как ветхозаветный пророк, обличал и узость кругозора, неизбежно постигавшую многих в эмиграции, и скудость, нормативность фантазии.

Все годы жизни в эмиграции писатель как бы строил мост – от отчаяния к надежде, из стихии бездомности к дому, к России. И одно из надежнейших звеньев этого моста – родной язык, хранитель памяти и «пра-памяти», не поддающийся никаким властителям, с «волей небесною дружен». Какая-нибудь случайно подвернувшаяся цитата из «Известий»: «Мастера льда (?) и других аналогичных видов спорта должны функционально вложиться в дело молодежной подготовки» – устрасала и возмущала его как катастрофа, как ставшее нормой одиночество. И где творится подобное – на Родине! Это «новоречь» духовных слепцов, недомыслящих людей, отпавших от культуры! Ремизов был решительно не согласен со строками М. И. Цветаевой, продиктованными отчаянием одиночества:

Не обольщусь и языком  
Родным, его призывом млечным.  
Мне безразлично, на каком  
Не понимаемой быть встречным!

Наталья Кодрянская, друг и один из добровольных секретарей Ремизова, запечатлела множество вариаций совсем не узколингвистической, а гуманистической тревоги мастера за родной язык. Эти скрытые муки, неизвестные на Родине, говорят о многом. Он хотел быть понятым родной страной и на родном языке: «Устный ум ходит по улицам, а книжный живет в типографии» (замечание Вяземского). Он хочет сказать: книжная речь бескровна, свинец, а живет разговорная – выражение фразы без риторического настроя».

«Мир – словарь. Меня можно оцарапать словом и обольстить».

Взгляд Ремизова с какой-то неизбывной последовательностью обращался в историческом пространстве к тому апрельскому дню 1682 года, когда в северном Пустозерске из пылавшего сруба с пламенем улетел ловить царский венец протопоп «всей Русской земли» Аввакум. Сгорел человек, не сгорело Слово... В последней своей книге «Мерлог» (2-я половина 1950-х годов), не изданной, как и многое другое, при жизни писателя, Ремизов возвращается и к фигуре все того же огнепального протопопа Аввакума, и к другому воскресителю русского

лада, Н. С. Лескову: «Все мы от Пушкина, Гоголя и Бестужева-Марлинского (родоначальник Лермонтова и Толстого, первый поэт русской прозы), но нет и не может быть русского писателя, кто бы вольно или невольно не тянулся к Аввакуму: его „природный“ русский язык – речь самой Русской земли! И нет и не было писателя, кто бы безразлично отнесся к этой „природной“ речи Аввакума, все сошлось на восхищении... И не в словах – с Далем и областными можно нанизать самые заклепистые прямо со словесной жарины, а зазвучит не по-русски – в том-то и дело, что не слова, а все в обороте – лад слов. Аввакум не с ветру, за его спиной в русских веках безымянные „невежды“, выражавшиеся просто и обреченные на молчание...»

Сейчас, когда стали видны все концы и начала нашей культуры, мы осознаем в Ремизове замечательную творческую личность, с глубочайшей гуманистической тревогой за человека и его внутренний мир, за культуру как великую ценность, то и дело отбрасываемую на край обрыва. Возвращение А. М. Ремизова в отечественную литературу – событие, необходимое и ему, чародею и магу русского языка, и ей самой, – оно многое меняет в составе и строении отечественного слова, в гуманистическом смысле культуры.

*Виктор Чалмаев*

## Из книги «Посолонь» (1907)

*Наташе*



Засни, моя деточка милая!  
В лес дремучий по камушкам мальчика-с-пальчика,  
Накрепко за руки взявшись и птичек пугая,  
Уйдем мы отсюда, уйдем навсегда.  
Приветливо нас повстречают красные маки,  
Не станет царапать дикая роза в колючках,  
Злую судьбу не прокаркнет птица-вещунья,  
И мимо на ступе промчится косматая ведьма,  
Мимо мышьиные крылья просвищут Змея с огненной  
пастью,  
Мимо за медом-малиной Мишка пройдет косолапый...  
Они не такие...  
Не тронут.

Засни, моя деточка милая!  
Убегут далеко-далеко твои быстрые глазки...  
Не мороз – это солнышко едет по зорям шелковым,  
Скрипят его золотые, большие колеса.  
Смотри-ка, сколько играет камней самоцветных!  
Растворяет нам дверку избушка на лапках куриных,  
На пятках собачьих.  
Резное оконце в красном пожаре...  
Раскрылись желанные губки.  
Светлое личико ангела краше.  
Веют и греют тихие сказки...

Полночь крадется.

Темная темь залегла по путям и дорогам.  
Где-то в трубе и за печкой  
Ветер ворчливо мурлычет.

Ветер... ты меня не покинешь?  
Деточка... милая...

*1902 г.*

## Весна-красна



### Кострома

Чуть только лес оденется листочками и теплое небо завьется белесыми хохолками, сбросит Кострома свою колючку – ежовую шубку, протрет глазыньки да из овина на все четыре стороны, куда взглянется, и пойдет себе.

Идет она по тальм болотцам, по вспаханным полям да где-нибудь на зеленой лужайке и заляжет; лежит-валяется, брюшко себе лапкой почесывает, – брюшко у Костромы мяконькое, переливается.

Любит Кострома поприбавить, блинков поесть да кисельку клюквенного со сливочками да с пеночками. А так она никого не ест, только представляется: поймает своим желтеньким усиком мушку какую, либо букашку, пососет язычком медовые крылышки, а потом и выпустит, – пускай их!

Теплынь-то, теплынь, благодать одна!

Еще любит Кострома с малыми ребятками повозиться, поваландаться: по сердцу ей лепуны-щекотуньи махонькие.

Знает она про то, что в колыбельках деется, и кто грудь сосет и кто молочко хлебает, зовет каждое дите по имени и всех отличить может.

И все от мала до велика величают Кострому песенкой.

На то она и Кострома-Костромушка.

Лежит Кострома, валяется, разминает свои белые косточки, брюшком прямо к солнышку.

Заприметят где ребяташки ее рожицу да айда гурьбой впуски. И скачут печушки пестренькие, бегут бегом, тянутся ленточкой и чувыркают-чивикают, как воробышки.

А нагрянут на лужайку, возьмут друг дружку за руки да кругом вокруг Костромушки и пойдут плясать.

Пляшут и пляшут, поют песенку.

А она лежит, лежона-нежона, нежится, валяется.

– Дома Кострома?

– Дома.

– Что она делает?

– Спит.

И опять закружатся, завертятся, ножками топают-притопывают, а голосочки, как бубенчики, и звенят и заливаются, – не угнаться и птице за такими свистульками.

– Дома Кострома?

– Дома.

– Что она делает?

– Встает.

Встает Кострома, подымается на лапочки, обводит глазыньками, поводит желтеньким усиком, прилаживается, кого бы ей наперед поймать.

– Дома Кострома?

– Дома.

– Что она делает?

– Чешется.

Так круг за кругом ходят по солнцу вокруг Костромушки, играют песенку, допытывают: что Кострома подельывает?

А Кострома-Костромушка и попила, и поела, и в баню пошла, и из бани вернулась, села чай пить, чаю попила, прикурнула на немножечко, встала, гулять собирается...

– Дома Кострома?

– Дома.

– Что она делает?

– Померла.

Померла Кострома, померла!

И подымается такой крик и визг, что сами звери-зверюшки, какие вышли было из-за ельников на Костромушку поглазеть, лататы на попятный, – вот какой крик и визг!

И бросаются все взахлес на мертвую, поднимают ее к себе на руки и несут хоронить к ключику.

Померла Кострома, померла!

Идут и идут, несут мертвую, несут Костромушку, поют песенку.

Вьется песенка, перепархивает, голубым жучком со цветка по травушке, повевавет ветерком, расплетает у девочек коски, машет ленточками и звенит-жужжит, откликается далеко за тем синим лесом.

Поле проходят, полянку, лесок за леском, проходят калиновый мост, вот и овражек, вот ключик – и бежит и недвижим – серая искорка-пчелка...

И вдруг раскрывает Кострома свои мертвые глазыньки, пошевеливает желтеньким усиком, – ам!

Ожила Кострома, ожила!

С криком и визгом роняют наземь Костромушку, да кто куда – врассыпную.

Мигом вскочила Костромушка на ноги, да бегом, бегом, – догнала, переловила всех, – возьмется. Стог из цветочков! – Хохоту, хохоту сколько, – писк, визготня. Щекочет, целует, козочку делает, усиком водит, бодает, сама поддается, – попалась! Гляньте-ка! гляньте-ка, как забарахтались! – повалили Костромушку, салазки загнули, щиплют, щекочут, – мала куча, да не совсем! И! – рассыпался стог из цветочков.

Ожила Кострома, ожила!

Вырвалась Костромушка да проворно к ключику, припала к ключику, насытилась и опять на лужайку пошла.

И легла на зеленую, на прохладную. Лежит, развалилась, валяется, лапкой брюшко почесывает, – брюшко у Костромы мяконькое, переливается.

Теплынь-то, теплынь, благодать одна!

Там распаханые поля зеленой зеленятся, там в синем лесу из нор и берлог выходят, идут и текут по черным утолкам, по пробойным тропам Божии звери, там на гиблом болоте в красном ивняке Леснь-птица гнездо вьет, там за болотом, за лесом Егорий кнутом ударяет...

Песенка вьется, перепархивает со цветочка по травушке, пестрая песенка-ленточка...

А над полем и полем, лесом и лесом прямо над Костромушкой небо – церковь хлебная, калачом заперта, блином затворена.

## Гуси-лебеди

Еще до рассвета, когда черти бились на кулачки, и собиралась заря в восход взойти, и скидывал ветер шелковой плеткой, вышел из леса волк в поле погулять.

Канули черти в овраг, занялась заря, выкатилось в зорьке солнце.

А под солнцем *рай-дерево* распустило свой сиреневый медовый цвет.

Гуси проснулись. Попросились гуси у матери в поле полетать. Не перечила мать, отпустила гусей в поле, сама осталась на озере, села яйцо нести. Несла яйцо, не заметила, как уж день подошел к вечеру.

Забеспокоилась мать, зовет детей:

– Гуси-лебеди, домой!

Кричат гуси:

– Волк под горой.

– Что он делает?

– Утку щиплет.

– Какую?

– Серую да белую.

– Летите, не бойтесь...

Побежали гуси с поля. А волк тут как тут. Перенял все стадо, потащил гусей под горку. Ему, серому, только того и надо.

– Готовьтесь, – объявил волк гусям, – я сейчас вас есть буду.

Взмолились гуси:

– Не губи нас, серый волк, мы тебе по лапочке отдадим по гусиной!

– Ничего не могу поделать, я – волк серый.

Пощипали гуси травки, сели в кучку, а уж солнышко заходит, домой хочется.

Волк в те поры точил себе зубы: иступил, лакомясь утками.

А мать, как почуяла, что неладное случилось с детьми, снялась с озера да в поле. Полетела по полю, покликкала, видит – перышки валяются, да следом прямо и пришла к горке.

Стала она думать, как ей своих найти, – у волка были там и другие гуси, – думала, думала и придумала: пошла ходить по гусям да тихонько за ушко дергать. Который гусь пикнет, стало быть, ее, – матернин, а который закурекает, не ее, – волков.

Так всех своих и нашла.

Ужи обрадовались гуси, содом подняли.

Бросил волк зубы точить, побежал посмотреть, в чем дело.

Тут-то они на него, на серого, и напали. Схватили волка за бока, поволокли на горку, разложили под рай-деревом да такую баню задали, не приведи Бог.

– Вы мне хвост-то не оторвите! – унимал гусей волк, отбрыкивался.

Пощипали-таки его изрядно, уморились да опять на озеро: пора и спать ложиться.

Поднялся волк, несолоно хлебавши, пошел в лес.

Возныла темная туча, покрыла небо.

А во тьме белые томновали по лугу девки-пусто-волоски да бабы-самокрутки, поливали о д о лень-траву.

Вылезли на берег водяники, поснимали с себя тину, сели на колоды и поплыли.

Шел серый волк, спотыкался о межу, думал-гадал о Иване-царевиче.

На озере гуси во сне гоготали.

## Лето красное



### Черный петух

От недели до недели подспело лето.

Последняя отлётная птичка прилетела до витого гнездышка. Зацвели белые и алые маки. Голубые цветочки шелкового льна морем разлились по полю. Белая греча запорошила прямым снегом без конца все пути. Встали по тыну, как козыри, золотые подсолнухи. Сухим золотом-стрелками затеплилась липа, а серебряные овсы и алатырное жито раскинулись и вдаль и вширь; неоглядные, обошли они леса да овраги, заняли округ небесную синь и потонули в жужжанье и сыти дожатвенной жажды.

С цветка на цветок, с травки на травку день до вечера перелетает пчелка, несет праздники.

И не упасть первой росе, а уж щелкает, звонко хлопает в воздухе кнут, звякают коровьи колокольчики – гонят стада.

А за стадом высоко, как дым, подымается пыль вдоль по улице.

И они чахлые и заморенные – Коровья смерть да Веснянка-Подосенница с сорока сестрами пробегают по селу, старухой в белом саване, кличут на голос.

Много они натворили бед – съешь их волк! – то под тыном прикинется – Подтынница, то на дворе пристягнет – Навозница, то соскочит с веретена да заскочит в пряху – Веретенница, то выскочит с болотной кочки – Болотница: им бы портить скотину, вынимать румянец из белого лица, вкладывать стрелы в спину, крючить на руках пальцы, трясьмя трясти тело.

И не гулянье от них ребятишкам: не век же голопузым носить на себе змеинового выползка.

Но и нечисть знает черед.

Собирается нечисть зноем в полдень к ведьмаку Пахому, – Пахома изба на краю села: там ей попить, там ей поесть.

В курнике петух взлетает на насест, схватившись с места как шальной, кричит по селу. Кричит петух целые ночи, несет змеиные спорыши, напевает, проклятый, на голову от недели до четверга. Сам Пахом-ведьмак о эту пору в печурке возится, стряпает из ребячьего сала свечу, – той свечой наведет колдун мертвый сон на человека и на всякую Божию тварь. Джурка, Пахомова дочка, не смыкая глаз, летает перепелкой, собирает золотой гриб.

Так от недели до четверга.

В четверг в полночь на пятницу подымается на ноги все село.

С шумом врываются в Пахомов курник, чадят зажженными метлами, ловят черного петуха.

Изловили черного петуха и с петухом идут на другой край села.

Алена верхом на рябиновой палке с мутовкой на плече, нагая, впереди с горящим угольком, за Аленой двенадцать девок с распущенными волосами в белых рубахах с серпами и кочергами в руках, и другие двенадцать с распущенными волосами в черных юбках держат черного петуха.



А за ними ватагой и стар и мал.

Шумя и качаясь, вышли девки за село, запалили угольком сложенный в кучу назем, трижды обнесли петуха вокруг кучи.

Тут выхватила Алена от девок петуха и, высоко держа над головой черноперого, пустилась с петухом по селу, забегая к каждой избе, мимо всех клетей с края на край.

С пронзительным криком, с гиканьем погнались за ней и белые и черные девки.

– А, ай, ату, сгинь, пропади, черная немочь!

Рвется черный петух, наливаются кровью глаза, колотится черное сердце.

Обежав все село, бросила Алена петуха в тлеющий назем.

Кинули за ним девки хвороста, сухих листьев, – и вспыхнул костер, с треском взвились листья и неслись, жужжа, как красные жучки, – неслись красные перья, завивались в косицы, и красная голова пела зимовые песни.

– Сгинь, сгинь, пропади, черная немочь! – скачут вокруг костра хороводом и черные и белые девки, притопывают, приговаривают, звенят в косы, бьют в чугуны, пока не ухнет красная голова, не зашипит уж больше ни одно красное перышко.

Сонной сохой по селу протянулась дорога белая от высокого месяца. На месяце все по-прежнему подымал на вилы Каин Авеля.

Шатаясь, шел по вымершему селу ведьмак Пахом, хватался за вереву, дышал гарным петушиим духом.

У Аленина двора со двора в ночевку бежит кот; ударил его Пахом посередь живота, сел на него, подкатил, как месяц, к окну, глазом надел на Алену хомут, шептал в ее след:

– Чтоб у нее, у миленькой, и спинушка и брюшенько красным опухом окинулись и с зудом.

Притрепался ведьмак, поманул зарю, иссяк, как дым, – волю снимать, неволю накладывать.

Не дождалась Джурка отца, поужинала. Поужинав, обернулась в галочку, полетела за речку росицу пить.

Занялась заря.

## Богомолье

Петька, мальчонка дотошный, шаландать куда гораздый, увязался за бабушкой на богомолье.

То-то дорога была. Для Петьки вольготно: где скоком, где взапуски, а бабушка старая, ноги больные, едва дух переводит.

И страху же натерпелась бабушка с Петькой и опаски, – пострел, того и гляди, шею свернет либо куда в нехорошее место ткнется, мало ли! Ну, и смеху было: в жизнь не смеялась так старая, тряханула на старости лет старыми костями. Умора давай разные разности выкидывать: то медведя, то козла начнет представлять, то кукует по-кукушечьи, то лягушкой заквакает. И озорничал немало: напугал бабушку до смерти.

– Нет, – говорит, – сухарей больше, я все съел, а червяков, хочешь, я тебе собрал, вот!

«Вот тебе и богомолье, – полпути еще не пройдено, Господи!»

А Петька поморочил, поморочил бабушку, да вдруг и подносит ей полную горсть не червяков, а земляники, да такой земляники – все пальчики оближешь. И сухари все целы-целехоньки.

Скоро песня другая пошла. Уморились странники. Бабушка все молитву творила, а Петька *Господи помилуй* пел.

Так и добрались шажком да тишком до самого монастыря. И прямо к заутрене попали. Выстояли они заутреню, выстояли обедню, пошли к мощам да к иконам прикладываться.

Петьке все хотелось мощи посмотреть, что там внутри находится, приставал к бабушке, а бабушка говорит:

– Нельзя: грех!

Закапризничал Петька. Бабушка уж и так и сяк, крестик ему на красненькой ленточке купила, ну, помаленьку и успокоился. А как успокоился, опять за свое принялся. Поташил бабушку на колокольню колокол посмотреть. Уж лезли-лезли, и конца не видно, ноги подкашиваются. Насилу вскарабкались.

Петька, как колокольчик, заливается, гудит, – колокол представляет. Да что – ухватился за веревку, чтобы позвонить. Еще, слава Богу, монах оттащил, а то долго ли до греха.

Кое-как спустились с колокольни, уселись в холодке закусить. Тут старичок один, странник, житие пустился рассказывать. Петька ни одного слова мимо ушей не проронил, век бы ему слушать.

А как свалила жара, снова в путь тронулись.

Всю дорогу помалкивал Петька, крепкую думу думал: поступить бы ему в разбойники, как тот святой, о котором странник-старичок рассказывал, грех принять на душу, а потом к Богу обратиться – в монастырь уйти.

«В монастыре хорошо, – мечтал Петька, – ризы-то какие золотые, и всякий Божий день лазай на колокольню, никто тебе уши не надерет, и мощи смотрел бы. Монаху все можно, монах долгогривый».

Бабушка охала, творила молитву.

*1905 г.*

## Осень темная



## Бабье лето

Унес жаворонок теплое время.  
У студились озера.  
Цветы, зацветая пустыми цветами, опадают ранней зарей.  
Сорвана бурей верхушка елки. Завитая с корня, опустила верба вялые листья. Высохла белая береза против солнца, сухая, небелая, пожелтела.  
Дует ветер, надувает непогоду.  
Дождь на дворе, в поле – туман.  
Поломаны, протоптаны луга, уколочены зеленые, вбиты колесами, прихлыстнуты плеткой.  
Скоро минует гулянье.  
Стукнул последний красный денек.

Богатая осень.  
Встало из-за леса солнце – не нажать такого на свете – приобсушило лужи, сгладило скучную расторопицу.  
По полесью мимо избы бежит дорожка, – мхи, шурша сырым серебром среди золота, кажут дорожку.  
Лес в пожаре горит и горит.  
В белом на белом коне в венке из зеленой озими едет по полю Егорий и сыплет и сеет с рукава бел жемчуг.  
Изунизана жемчугом озимь.  
И дальше по лесу вмиг загорается красный – солнце во лбу, огненный конь, – раздает Егорий зверям наказы.  
Лес в пожаре горит и горит.  
И птицы не знают, не домкнуться певуньям – лететь им за море или вить новые гнезда, и водные – лебеди – падают грудью о воду, плывут:  
– Выльнь, выплывь, весна! – выют волну и плывут.

Богатая осень.  
Летит паутина.  
Катит пень косолапый медведь, воротит колоды – строит мохнатый на зимовье берлогу: морозами всласть пососет он до самого горлышка медовую лапу.  
Собирается зайчик линять и трясется, как листик, – боится лисицы.

Померкло.  
Занывает полное сердце:  
«Пойти постоять за ворота!»  
Тихая речка тихо гонит воды.  
По вечеру плавно вдоль поля тянется стая гусей, улетает в чужую сторонку.  
– Счастлива дорожка!  
Далеко на селе песня и гомон: свадьбу играют.  
Хороша угода, хорош хмель зародился – золотой венец.  
Богатая осень.

Шум, гам, – наступают грудью один на другого, топают, машут руками, вон сама по себе отчаянно вертится сорвиголова молодуха – разгарчиво лицо, кровь с молоком, вон дед под хмельком с печи сорвался...

Кипит разгонщица каша.

Валит дым столбом.

Шум, гам, песня.

А где-то за темною топью конь колотит копытом.

Скрипят ворота, грекают дверью – запирает Егорий вплоть до весны небесные ворота.

Там катается по сеним последнее времячко, последний часок, там не свое житье-бытье испроведовают, там плачут по русой косе, там воля, такой не дадут, там не можно думы раздумать...

«Ей, глаза, почему же вы, ясные, тихие, ненаглядные, не источаете огненных слез?»

Мать по-темному не поступит, вернет теплое время...

Сотлело сердце чернее земли.

– Вернитесь!

И звезды вбиваются в небо, как гвозди, падают звезды.

## Змей

Петьку хлебом не корми, дай только волю по двору побегать. Тепло, ровно лето. И уж закатится непоседа, день-деньской не видать, а к вечеру, глядишь, и тащится. Поел, помолился Богу, да и спать, – свернется сурком, только посапывает.

Помогал Петька бабушке капусту рубить.

– Я тебе, бабушка, капустную муку сделаю, будет нам зимой пироги печь, – твердит таратора да рубить, что твой заправский: так вот себе и бабушке по пальцу отрубит.

А кочерыжки, как ни любил лакома, хряпал не очень много, а все прибирал: сложит в кучку, выждет время и куда-то снесет. Бабушке и невдомек: знай похваливает, думает себе, – корове носит.

Какой там корове! Стоял у бабушки под кроватью старый-престарый сундучок, железом кованный, хранила в нем бабушка смертную рубашку, туфли без пяток, саван, рукописание да венчик, – собственными руками старая из Киева от мощей принесла, батюшки-пещерника благословение. И в этот-то самый сундучок Петька и складывал кочерыжки.

«На том свете бабушке пригодятся, сковородку-то лизать не больно вкусно...»

Случилось на Воздвиженье, понадобилось бабушке в сундучок зачем-то, открыла бабушка крышку, да так тут же на месте от страха и села.

А как опомнилась, наложила на себя крестное знамение, кочерыжки все до одной из сундучка повыбрасывала, окропилась святою водой, да силен, верно, окаянный – змей треклятый.

Стали они, нечистые, эти Петькины кочерыжки, представляться бабушке в сонном виде: встанет перед ней такая вот дубастая и торчит целую ночь, не отплюешься. Притом же и дух нехороший завелся в комнатах, какой-то капустный, и ничем его не выведешь, ни м о н а ш к о й, ни скипидаром.

А Петька диву дается, куда из сундука кочерыжки деваются, и нет-нет да и подложит.

«Пускай себе ест, корове и сена по горло».

Думал пострел, съедает их бабушка тайком на сон грядущий.

Бабушка на нечистого все валила.

И не проходило дня, чтобы Петька чего-нибудь не напроказил. Пристрастился гулена змеев пускать, понасажал их тьму-тьмущую по всему саду, и много хвостов застряло за дом.

Запускал Петька как-то раз змея с трещоткой, и пришла ему в голову одна хитрая хватка:

«Ворона летает, потому что у вороны крылья, ангелы летают, потому что у ангелов крылья, и всякая стрекоза и муха – все от крыла, а почему змей летает?»

И отбился от рук мальчонка, ходит, как тень, не ест, не пьет ничего.

Уж бабушка и то и другое, – ничего не помогает, двенадцать трав не помогают!

«А летает змей потому, что у него дранки и хвост!» – решает наконец Петька и, не долго думая, прямо за дело: давно у Петьки в голове вертело полетать под облаками.

Варила бабушка к празднику калиновое тесто – удалась калина, что твой виноград, сок так и прыщет, и тесто вышло такое разваристое, халва, да и только. Вот Петька этим самым тестом-халвой и вымазался, приклеил себе дранки, как к змею, приделал сзади хвост из мочалок, обмотался ниткой, да и к бабушке.

– Я, – говорит, – бабушка, змей, на тебе, бери клубок, да пойдем подсади меня, а то он так без подсадки летать не любит.

А старая трясется вся, понять ничего не может, одно чувствует: наущение тут бесовское, да так, как стояла простоволосая, не выдержала и предалась в руки нечистому, – взяла она обеими руками клубок Петькин, пошла за Змием подсаживать его, окаянного.

Хочет бабушка молитву сотворить, а из-под дранок на нее ровно кочерыжка, хоть и малюсенькая, так крантиком, а все же она, нечистая, – и запекаются от страха губы, отшибает всю память.

Влез Петька на бузину.

– Разматывай! – кричит бабушке, а сам как сиганет и – полетел, только хвост зачиклечился.

Бабушка клубок разматывать разматывала, но что было дальше, ничего уж не помнит.

– Пала я тогда замертво, – рассказывала после бабушка, – и потоптал меня Змий лютей о семи голов ужасных и так всю царапал кочерыжкой острой с когтем и опачкал всю, ровно тестом, липким чем-то, а вкус – мед липовый.

На Покров бабушка приобщалась Святых Тайн и Петьку с собой в церковь водила: прихрамывал мальчонка, коленку летавши отшиб, – хорошо еще, что на бабушку пришлось, а то бы всю шею свернул.

«Конечно, все дело в хвосте, отращу хвост, хвачу на седьмое небо уж прямо к Богу, либо птицей за море улечу, совью там гнездо, снесусь...» – Петька усердно кланялся в землю и, будто почесываясь, ощупывал у себя сзади под штанишками мочальный змеев хвостик.

Бабушка плакала, отгоняла искушения.

*1906 г.*

## Зима лютая



### Корочун

Дунуло много, – буйны ветры.  
Все цветы привозблекли, свернулись.  
Вдарило много, – люты морозы.

Среди поля весь в хлопьях драковитый дуб, как белый цветок.  
Катят и сходятся пухом снеговые тучи, подползает метелица, порошит пути, метет вовсю,  
бьет глаза, заслепляет: ни входу, ни выходу.

И ветер Ветреник, вставая вихорем, играет по полю, врывается клубами в теплую избу:  
не отворяй дверь на мороз!

Царствует дед Корочун.

В белой шубе, босой, потряхивая белыми лохмами, тряся сивой большой бородой, Корочун ударяет дубиною в пень, – и звенят злющие зюзи, скребут коготками морозы, аж воздух трещит и ломается.

Царствует дед Корочун.

Коротит дни Корочун, дней не видать, только вечер и ночь.

Звонкие крепкие ночи.

Звездные ночи, яркие, все видно в поле.

Щелкают зубом голодные волки. Ходит по лесу злой Корочун и ревет, – не попадайся!

А из-за пустынных болот со всех четырех сторон, почуя голос, идут к нему звери без попяту, без завороту.

Непокорного – палкой, так что секнет надвое кожа.

На изменника – семихвостая плетка, семь подхвостников: раз хлестнет – семь рубцов, другой хлестнет – четырнадцать.

И сыплет, и сыплет снег.

Люты морозы, – глубоки снеги.

С вечера петухи кричат, с полудня метелица, к белому свету люты морозы.

Люты морозы, – глубоки снеги.

Не скоро Свету – солнцу родиться, далек солноворот. Хорошо медведю в теплой берлоге, и в голову косматому не приходит перевернуться на другой бок.

А дни все темней и короче.

На голодную кутью ты не забудь бросить Деду первую ложку, – Корочун кутью любит. А будешь на Святках рядиться, нарядись медведем, – Корочун медведя не съест.

И разворчался, топают, месяц катает по небу, стучит неугомонный, – Корочун неугомонный.

Старый кот Котофей Котофеич, сладко курлыкая, коротаёт Корочуново долгое время, – рассказывает сказки.

## Медведюшка

### 1

Среди ночи проснулась Аленушка.

В детской душно. Нянька Власьевна храпит и задыхается. Красная лампадка нагорела: красное пламя то вспыхнет, то погаснет.

И никак не может заснуть Аленушка: страшно ей и жарко ей.

«Папа поздно пришел, – вспоминается Аленушке, – я собиралась спать, папа и говорит: „Смотри, Аленушка, на небо, звезды упадут!“ И мы с мамой долго стояли, в окно глядели. Звезды такие маленькие, а золотой водицы в них много, как в брошке у мамы. Холодно у окна, долго нельзя стоять. Когда идешь с папой к ранней обедне, тоже холодно: колокол звонит, как к покойнику. Власьевна вчера рассказывала, будто покойник Иван Степанович рукой во сне ее ловит... А звезд много на небе, звезды разговаривают, только не слышать. Дядя Федор Иваныч говорит, будто летает он к звездам и ночью слушает, как звезды поют тонко-тонко. Днем их нет, днем они спят. Тоже и я полечу, только бы достать золотые крылья... А папа подошел и говорит: „Аленушка, звезда падает!“ И золотая ленточка долго горела на небе и потом пропала. Холодно звездочке, где-нибудь лежит она, плачет, – моя звездочка!»

Аленушке так страшно и так жалко звездочки, заныла Аленушка:

– Попить, няня, по-пить!

И когда Власьевна-нянька подает Аленушке кружку, Аленушка жадно пьет, вытягивая губки.

Теперь Аленушка свернулась калачиком и заснула.

И кажется ей, летит она куда-то к звездам, как летает дядя Федор Иваныч, попадаются ей навстречу звездочки, протягивают свои золотые лапки, сажают ее к себе на плечи и кружатся с ней, а месяц гладит ее по головке и тихо шепчет на самое ушко: «Аленушка, а Аленушка, вставай, солнышко проснулось, вставай, Аленушка!»

Аленушка щурит глазыньки, а все еще кажется ей, будто летит она к звездам, как дядя Федор Иваныч.

– Что тебя не добудишься, вставай скорее! – Это мама, мама наклонилась над кроваткой, щекочет Аленушку.

### 2

Аленушкина звездочка долго летала и упала наконец в лес, в самую чашу, где старые ели сплетаются мохнатыми ветвями и страшно гудят.

Проснулся густой сизый дым, пополз по небу, и кончилась зимняя ночь.

Вышло и солнце из своего хрустального терема нарядное, в красной шубке, в парчовой шапочке.

Прозрачная, с синими грустными глазками, лежит Аленушкина звездочка неподалеку от заячьей норки на мягких иглах: вдыхает мороз.

А солнышко походило-походило над лесом и ушло домой в свой хрустальный терем.

Поднялись снежные тучи, залегли по небу, стало смеркаться.

Дребезжащим голосом затянул ветер-ворчун свою старую зимнюю песню.

Глухая метель прискакала, глухая кричит.

Снег заплясал.

Дремлет у заячьей норки бедная звездочка, оттаявшая слезинка катится по ее звездной щеке и замерзает.

И кажется звездочке, она снова летит в хороводе с золотыми подругами, им весело и хохочут они,

как хохочет Аленушка. А ночь хмурая старой нянькой Власьевной глядит на них.

### 3

Выставляли рамы.

Целый день стоит Аленушка у раскрытого окна.

Чужие люди проходят мимо окна, ломовые трясутся, вон плетется воз с матрацами, столами и кроватями.

«Это на дачу!» – решает Аленушка.

А небо голубое, чистое, небо Аленушке ровно улыбается.

– Мама, а мама, а когда мы на дачу? – пристаёт Аленушка.

– Уберемся, деточка, сложим все и поедем далеко, дальше, чем прошлым летом! – сказала мама: мама шьет халатик Леве, и ей некогда.

«Поскорее бы уехать!» – томится Аленушка.

На игрушки и смотреть Аленушке не хочется – такие деревянные игрушки, скучные. Игрушкам тоже зима надоела.

Долго накрывают на стол, стучат тарелками.

Долго обедают. Аленушке и кушать не хочется.

Приходит дядя Федор Иванович, говорит с мамой о каких-то стаканах, смеется и дразнит Аленушку.

А Аленушка слоняется из угла в угол, заглядывает в окна, капризничает, даже животик у ней разболелся.

Не дожидаясь папы, уложили ее в кроватку.

И сквозь сон слышит Аленушка, как за чаем папа и мама и дядя Федор Иванович в столовой толкуют об отъезде на дачу в лес в дремучий, где деревья даже в доме растут, над крышей растут. Вот какие деревья!

Головка у Аленушки кружится.

Ей представляется большая зеленая елка, ярко освещенная разноцветными свечками, в бусах, в пряниках, елка идет на нее, а из темных углов крадутся медведи белые и черные в золотых ошейниках, с бубенцами, с барабанами, и падают, летают вокруг медведей золотые звездочки.

«А где та, моя, где моя звездочка? – вспоминает Аленушка. – Дядя сказал, вырастет из нее такая же девочка, как я, или зверушка. И что это за такая зверушка?»

– Ну что, Аленушка, как твой животик? – Это папа, папа тихонько наклонился над Аленушкой, крестит ее.

– Не-ет! – сквозь сон пищит Аленушка.

– Выздоровливай скорей, деточка, на дачу завтра едем, горы там высокие, а леса дремучие!

Аленушка перевернулась на другой бок, крепкокрепко обняла подушку и засопела.

#### 4

Как-то сразу замолкли вихри, и разлившиеся реки задремали.

Зарделись почки, кое-где выглянули первые шелковые листики.

Седые, каменные ветки оленьего моха бледно зазеленелись, разнежились; поползли на цепких бархатисто-зеленых лапках разноцветные лишай; медвежья ягода покрылась восковыми цветочками.

Птицы прилетели, и в гнездах запищали маленькие детки – птички.

Проснулась у заячьей норки и Аленушкина звездочка. За зиму-то вся покрылась она шерстью, как медведюшка. На лапках у ней выросли острые медвежьи коготки, и стала звездочка не звездой, а толстеньким, кругленьким медвежонком.

Хорошо медвежонку прыгать по пням и кочкам, хорошо ему сучья ломать, наряжаться цветами.

Скоро научится он рычать по-медвежьи и пугать маленьких птичек.

– Сидите, детки, в гнездышках, – учит мать-птица, – медведюшка ходит, укусить не укусит, а страху от него наберетесь большого.

Целыми днями бродит медвежонок по лесу, а устанет – ляжет где-нибудь на солнышке и смотрит: и как муравьи с своим царством копошатся, и как цветочки да травки живут, и как мотыльки резвятся – все ему мило и любопытно.

Полежит, поотдохнет медвежонок и пойдет. И куда-куда не заходит: раз чуть в болоте не завяз, насилу от мошек отбился, и смеялись же над ним незабудки, мхи хохотали, поддразнивали. А то повстречал чудовище... птицы сказали – охотник.

– Человека остерегайся, глупыш! – долбил дятел. – Человеки тебя в цепь закуют. Вон Скворца Скворцовича изловили, за решеткою теперь, воли не дают. Летал к нему – «Жив, – пищит, – корму вдосталь, да скучно». У них все вот так!

А медвежонку и горя мало, прыгает да гоняется за жуками, и только когда багровеет небо, и серые туманы идут дозором, и месяц выходит любоваться на сонный лес, засыпает он, где попало, и до утра дрыхнет.

Как-то медвежонок и заблудился.

А ночь шла темная, душная.

Птицы и звери ни гугу в своих гнездах и норках.

Ходил медвежонок, ходил, и так вдруг страшно стало, принялся выть, – а голоса не подают. И собрался уж под хворост лечь, да вспомнился дятел.

«Еще сцапают, да в цепь закуют, пойду-ка лучше!»

По лесу пронесся долгий, урчащий гул, и листья затряслись, ровно от ужаса. Голубые змейки прыгали на крестах елей, и что-то трескалось, билось у старых рогатых корней.

Как угорелый пустился медвежонок, куда глаза глядят, бежал-бежал, исцарапался, дух перевести не может, хватать – голоса, огонек. Обрадовался.

«Птичье гнездо!» – подумал.

А огонек разгорался, голоса звенели.

Раздвинул медвежонок кусты и видит: огромный светлый зал, много чудовищ – охотников, едят охотники и что-то лопочут.

– Ты, Аленушка, – говорит мама, – одна в лес не ходи, там тебя медведи съедят. Дядя Федор Иванович наемни пошел на охоту, а ему медвежонок навстречу, крохотный, с тебя!

– Папа, а папа, – обрадовалась Аленушка, – поймай ты мне этого медвежонка, я играть с ним буду!

А медвежонок, как услышал, зарычал и вышел.

– Смотрите, смотрите, – кричала мама, – вон медвежонок!

Тут все бросились из-за стола, папа суп пролил.

– Медведюшка, иди, иди к нам, ужинать с нами, медведюшка! – прыгала Аленушка.

И медведюшка подошел, нюхнул, – очень уж понравилась ему беленькая девочка.

И Аленушке медведюшка очень понравился: усадила она его рядом с собою, гладила мордочку, тыкала в нос ему белый хлеб. А он ласково смотрел в ее светлые глазки, сопел: так устал и напугался.

– Ну, вот и медвежонок у тебя, играй с ним, а теперь отправляйся в кроватку, и так засиделась!

– И он со мною? – робко спросила Аленушка.

– Нет уж, иди одна, его к кусту папа привяжет!

Мама сердилась на папу за суп, и Аленушка, едва сдерживая слезы, одна пошла в детскую.

Долго не спалось ей, все она думала о медвежонке, как они вместе в лес будут ходить, как ягоды собирать, – бояться некого, никто с медвежонком не съест.

– Медведюшка, миленький мой медведюшка, бедненький! – шептала Аленушка и засыпала.

## 5

Как проснется Аленушка, прямо бежит к медведюшке, отвяжет его от куста и чего-чего только не делает: и тискает его, и надевает папину старую шляпу, и садится верхом или долго водит за лапку и разговаривает.

Медведюшка все понимает, только говорить не может, рычит.

Так незаметно проходят дни.

С Аленушкой хорошо медведюшке, а привязанный, он тоскует, вспоминает птиц и зверей разных.

Подошла осень, захолодели ночи. Уж изредка топили печи.

Медведюшка слышал, как папа и мама разговаривали об отъезде домой, да и Аленушка брала его за лапку, гладила, целовала в мордочку.

– Скоро один останешься, – говорила она медведюшке, – папа и мама не хотят тебя брать, ты кусаться будешь.

А сегодня мама сказала Аленушке, чтобы она не очень-то водилась с медведюшкой.

– Дядя вон погладил твоего медведюшку, а он его за нос и цап!

«Уж не удрать ли в лес, а то убьют еще!» – раздумывал медведюшка, и так ему было тоскливо, и больно, и жалко Аленушку.

Собирались уезжать.

Вечером приехали гости, и мама играла на рояле.

Когда же дядя запел, начал и медведюшка подвывать из куста. И вдруг расสวิрепел, оборвал ошейник – да прямо в зал.

Все страшно перепугались, словно пожара какого, бросились ловить медвежонка, а когда поймали его, тяпнул он маму за палец.

Тут все закричали.

– Мой медведюшка, не троньте его! – визжала Аленушка.

А медведюшку связали и потащили.

– Куда вы дели моего медведюшку? – всхлипывала Аленушка, вытягивала длинно-длинно свои оттопырки-губки.

– Ничего, деточка, – утешала Власьевна, – в лес его пустят ходить, там ему способнее будет. Спи, Аленушка, спи, утресь домой поедом, игрушки-то, поди, соскушнились по тебе!

– Не надо мне игрушков, медведюшка мо-ой, какие вы все-е!

Личико ее покраснелось, слезы так и бегут...

## 6

Частые-частые звезды осенние из серебра, золотые, тихо перелетают, льются по небу.  
Месяц куда-то ушел.

Трещат сучья. Улетают листья, гудят.

– Медведюшка идет, прячьтесь скорее! – перекликаются птицы и звери.

С шумом раздвигая ветви, выходит медведюшка: на шее у него оборванная веревка, и торчит клоками шерсть. Насупился.

Так подходит медведюшка к берлоге, разрывает хворост, спускается в яму, рычит:

– Спать залягу да поотдохну малость!

И раздается по всему лесу храп: это медведюшка лапу сосет, спит.

Стаями выпархивают птицы, собираются в стаи, улетают птицы в теплые страны, покидая холод, оставляя старые гнезда до новой весны.

Лампадка зашурилась, пыхнула и погасла.

Серый утренний свет тихомолком подполз к двойным рамам окон, заглянул украдкой в детскую, и ночная тьма поседела и медленно побрела по потолку и стенам, а по углам встали тени – столбы мутные, какие-то сонные.

Котофей Котофеич, черный бархатный кот, приподнялся на своих белых подушечках-лапках, изогнулся и, сладко зевнув, прыгнул к Аленушке на кровать.

Аленушка тарашила заspanные глазыньки: уж не медведюшка ли бросился съесть ее?

А Власьевны нет...

На кухне глухо стучат и ходят.

Кот подвернул лапки, вытянул усатую мордочку и запел.

Теперь совсем нестрашно.

«Господи, – мечтает Аленушка, – хоть бы Рождество поскорее, а там и Пасха, к заутрене пойду, на Пасху хорошо как!»

Опухшие за ночь губки сурьезничают, а личико светится, и улыбается Аленушка, словно вот уж волхвы идут со звездой, большущую тащат елку, в пряниках.

1900 г.

## Пальцы

Жили-были пять пальцев – те самые, которых всякий на руке у себя знает: большой, указательный, средний, безымянный – все четверо большие, а пятый мизинец – маленький.

Проголодались как-то пальцы, и засосало.

Большой говорит:

– Давайте-ка, братцы, съедим что-нибудь, больно уж морит.

А другой говорит:

– Да что же мы есть будем?

– А взломаем у матери ящик, наедемся сладких пирожных, – кажет безымянный.

– Наесться-то мы наедемся, – заперечил четвертый, – да этот маленький все матери скажет.

– Если скажу, – поклялся мизинец, – так пусть же я не вырасту больше.

Вот взломали пальцы ящик, наелись досыта сладких пирожных, их и разморило.

Пришла домой мать, видит: слипшись, спят пальцы, один не спит мизинец.

Он ей все и сказал.

А за то остался навеки сам маленький – мизинец, а те четверо с тех пор ничего не едят да с голодухи, голодные, за все хватаются.

*1907 г.*

## Примечания

### Посолонь

*Посолонь* – по солнцу, по течению солнца. Церковнославянское «сльнь» («слонь»), «сльнь-це» («слонь-це»), древнерусское «сьльнь» («солонь»), «сьльнь-це» («солоньце») – солнце, отсюда «по-сьльнь» («посолонь») – по солнцу. На Спиридона-поворота (12 декабря по ст. ст.) солнце поворачивает на лето (зимний солоно-ворот) и ходит до Ивана Купалы (24 июня по ст. ст.), с Ивана Купалы поворачивает на зиму (летний солоноворот).

Содержание книги делится на четыре части: Весна, Лето, Осень, Зима – и обнимает собою круглый год. Посолонь ведет свою повесть рассказчик – «по камушкам Мальчика-с-пальчика», как солнце ходит: с весны на зиму.

**Весна-красна.** Содержание Весны представляет мифологическую обработку детских игр («Красочки», «Кострома», «Кошки и Мышки»), обряда кумовства – «крещения кукушки» («Кукушка») и игрушки («У лисы бал»). Игры, обряд, игрушки рассматриваются детскими глазами, как живое и самостоятельно действующее.

С. 35. *Кострома* – игра. Выбирают Кострому или кто-нибудь из взрослых разыгрывает Кострому, остальные берутся за руки, делая круг. В середину круга сажают Кострому и начинают ходить вокруг нее хороводом. Из хоровода кто-нибудь один (коновод или хороводница), а не все допытывает у Костромы: что она делает? Кострома отвечает. Кострома делает все, что делает обыденно: Кострома встает, умывается, молится Богу, вяжет чулок и т. д. и, как всякий, в свой черед умирает. И когда Кострома умирает, ее с причитаниями несут мертвую хоронить, но дорогой Кострома внезапно оживает. Вся суть игры в этом и заключается. Окончание игры – веселая свалка.

Похороны Костромы, как обряд, совершался когда-то взрослыми. В Русальное заговенье на Всесвятской неделе (воскресенье перед Петровками) или на Троицу и Духов день делалось чучело из соломы и с причитаниями чучело хоронилось – топили его в реке или сжигали на костре. Кострому изображала иногда девушка, ее раздевали и купали в воде. В купальской обрядности рядом с куклой-женщиной (Купало, Марина – Марена) употреблялась и мужская кукла (Ярило, Кострома, Кострубонько). Миф о Костроме-матери вышел из олицетворения хлебного зерна: зерно, похороненное в землю, оживает на воле в виде колоса. См.: Аничков Е. В. Весенняя обрядовая песня на Западе и у славян. СПб., 1903–1905.

*Кострома* (костерь) – жесткая кора конопли, костер.

*Лепуны-щекотунги* – прозвище детворе. Лепуны – лепетать, лопотать; лепает – говорит кое-как.

С. 36. *Чувьркают-чивикают* – воробьиное щебетанье. В песне говорится:

Как на крыше, на повети,  
Воробей чувьркал...

С. 37. ...*бросаются все взахлес...* – один за другим безостановочно. Наседая, вцепляются в Кострому удавкой – так, что ей уж никакими силами не выбраться из петли детских рук.

...*проходят калиновый мост...* – Калина – символ девичьей молодости; ходить по калиновому мосту – предаваться беззаветному веселью.

«Ой, нагнала лета мои на калиновом мосту; ой, вернитесь, вернитесь хоть на часок в гости!»

С. 38. *Зеленей зеленытся* – зеленятся озимью; *зеленя* – озимь, *зель* в противоположность яровому (яри).

*По черным утолкам.* – Толока – пар, пустое поле.

*По пробойным тропам* – по торным тропам. Пробой – выбоина.

*Гиблое болото* – губящее, где погибло много народа.

*Леснь-птица* – мифическая птица, живет в лесу, там и гнездо вьет, а уж начнет петь, так поет без просыпу. В заговоре от зубной боли, «от зуб денной», говорится: «Леснь-птица умолкает, умолкни у раба твоего зубы ночные, полуночные, денные, полуденные...» Леснь-птица – птица лесная, как леснь-добыча – лесная добыча.

*...Егорий кнотом ударяет...* – Св. Георгий – скотопас, все звери у него под рукою. Егорий вешний – 23 апреля по ст. ст.

*Гуси-лебеди* – игра. Выбирается мать-гусыня и волк. Остальные играющие, изображая стадо, бегут на выгон в поле. Потом, когда на зов матери гуси собираются домой уходить, все они перенимаются волком. Мать идет выручать гусей и, найдя своих, нападает на волка. Топят баню и моют волка. Развязка самая шумная.

*...черти бились на кулачки...* – предрассветный сумрак – лисья темнота (полночь).

С. 39. *Рай-дерево* – название сирени.

С. 40. *Томновать* (томность, томный) – тосковать.

С. 40. *Девки-пустоволоски* – простоволоски, с непокрытой головой.

*Бабы-самокрутки* – округившиеся своей волей, ведьмы.

*Одолень-трава* (одолей трава) – приворотная, одолевающая.

*Водяники* – водяницы, русалки, утопленницы.

**Лето красное.** Содержание Лета представляет мифологическую обработку детской игры («Калечина-Малечина»), обряда опахивания («Черный петух»), купальской ночи («Купальские огни»), грозной воробьиной ночи («Воробьиная ночь»), обряда завивания бороды Велесу, Илье, Козлу («Борода»), легенды о Костроме. Сюда же входит рассказ «Богомолье» – о Петьке.

С. 41. *Черный петух.* – Сожжение черного петуха относится к обряду опахивания – очищения села от болезни и нечисти. Подробное и сравнительное исследование этого обряда см. в книге проф. Аничкова Е. В. Весенняя обрядовая песня на Западе и у славян. Ч. I и II. СПб., 1903–1905.

Черный петух поглощает все болезни и нечисть, символ всех зол и напастей и самой Смерти в противоположность не черному – будимиру, который является символом воскресения, солнца.

*От недели до недели* – с воскресенья до воскресенья, с седмицы до седмицы.

*Алатырное* – бледно-янтарное; алатырь – легендарный краеседмицы угольный камень.

*...пчелка несет праздники...* – воск для церкви и мед для пиров.

*Коровья смерть* – чума на скот.

*Веснянка-Подосенница* – весенняя и осенняя лихорадка.

С. 42. *Подтынница, Навозница, Веретенница, Болотница* и др. – названия сорока сестер-лихорадок.

*Носить змеиного выползка* – помогает от лихорадки; носить надо месяц, не снимая ни на ночь, ни в бане; *выползок* – змееныш, выползший из норы.

*Спорыши* – петушиные яйца, если петух возьмется яйца нести.

*...стряпает из ребячьего сала свечу...* – Этой свечой можно усыпить; когда такая свеча зажжена, бери все, что угодно, никто не проснется; сало надо обязательно из живого человека.

*Золотой гриб* – помогает от всех болезней.

*Курник* – курятник.

*Мутовка* – палочка с рожками на конце для пахтанья, взболтки и чтобы мешать.  
...с горящим угольком... – очистительная сила дыма. Такое же значение имеют качели.  
С. 44. *Щумя и качаясь* – очистительная сила огня.

*Назем* – навоз.

*На месяце...* подымал на вилы *Каин Авеля*. – Народное объяснение лунных пятен.  
*Дыхал гарным петушиным духом* – горелым, пережженным, выжженным огнем, гарью.  
...надел на *Алену хомут...* – испортил, настав грудную болезнь: одышку, удушье.

С. 45. *Шаландать* – шататься, шалить; шаланда – парусное судно.

*Вольготно* – хорошо, легко, удобно, свободно.

*Умора* – умора, да и только, то есть такое состояние, при котором умираешь со смеху.

**Осень темная.** Содержание Осени: богатая осень – «Бабье лето», рассказ «Змей», обряд «Разрешение пут», заплачка невесты; протяжная осень – «Троецypленица», сказки «Ночь темная» и «Снегурушка».

С. 47. *Бабье лето* – начало осени с Семенова дня по Аспосов день (с 1–8 сентября по ст. ст.), вообще же бабьим летом зовутся теплые ясные дни осени.

*Рассторопица* – распутица, осенние и весенние грязи.

*Сырым серебром* – старинное народное определение: «Сыро серебро, сухо золото».

С. 48. ...едет по полю *Егорий...* – Св. Георгий разъезжает на белом коне и раздаёт зверям наказания. Егорий холодный – 26 ноября по ст. ст. (Юрьев день).

*Выльнь* – вылынять, выплывать.

*Гомон* – гом, гам, громкий говор, крик, шум.

С. 49. *Житье-бытье испроведоватъ* – узнать, доведаться.

*По-темному* – несправедливо.

*Таратора.* – Тараторить – без умолку говорить; звукоподражательное слово.

С. 50. *Смертная рубашка* – рубашка на смерть, в которой в гроб лечь.

*Батюшка-пещерник* – в пещере живет.

*Не выведешь монашкой.* – Монашка – угольная курильная свечка, зажигается эта свечка, чтобы воздух прочистить.

*Пострел,* постреленок – непоседа, повеса, сорванец, сорвиголова.

*Гулена* – праздный, шатун.

С. 51. ...хвост зачиклечился. – Если нитка или хвост бумажного змея за что-нибудь заде-нет и застрянет.

**Зима лютая.** Зимнее время долгое – не очень побегаешь. Пришла Снегурушка, принесла первый белый снег, а за нею мороз идет. И наступило на земле царство Корочуново с метелями и морозами – «Корочун». Кот Котофей Котофеич любит сказки рассказывать в зимнее время, вспоминать приятелей: «Медведюшка», «Морщинка», «Пальцы», «Зайчик Иваныч», «Зайка». Все заканчивается медвежьей колыбельною песней.

С. 53. *Корочун* – зимний дед – мороз. – Древнерусское название зимнего солонворота (12 декабря по ст. ст.), время от 15 ноября до Рождественского сочельника. Древнерус. «карачунь», «корочунь», «корочюнь»; малорус, «керечун» – от «крачити», «кракъ» – «шаг», «нога». Этот самый дед Корочун, оказывается, по словам румынской колядки, приютил Божию Матерь с Младенцем у себя в хлеву. См.: Акад. Веселовский А. Н. Разыскания в области русского духовного стиха. СПб., 1883. Вып. VI–X.

*Дунуло много,* – буйны ветры. – Дунуло много ветров, – буйны ветры.

*Вдарило много,* – люты морозы. – Вдарило много морозов, – люты морозы. Такие опущения встречаются в народных русских песнях.

*Драковитый дуб* – развилистый.

*Ветренник* – шаловливый ветер, он румянит щеки и вешает сосульки на бороды и усы; если в студеное время отворить дверь наружу, так он тут как тут – закружится паром.

*Злющие зюзи* – трескучие морозы, зюзи – морозы (Белоруссия).

*С. 54. Без попятю* – не спячиваясь, не устремляясь на попятный.

*Без завороту* – не возвращаясь, не оборачиваясь.

*Секнет* – лопнет, отскочит в стороны.

*На голодную кутью* – 5 января, в Крещенский сочельник. На эту кутью (кутья бывает еще в Рождественский сочельник – постная – и под Новый год – ласая, или щедрая, или богатая) чествуются Корочун. Выбрасывая Корочуну за окно первую ложку, зовут кутью есть, а летом просят жаловать мимо, лежать под гнилой колодой и не губить посевов.

«Пальцы». В основу сказки положен южнославянский миф. См.: Бодуэн де Куртенэ И. А. Материалы для южнославянской диалектологии и этнографии: II. Образцы языка на говорах терских славян в Северо-Восточной Италии // Сб. Отд. рус. яз. и словес. Имп. Акад. наук. СПб., 1904. Т. LXXVIII, № 2.

## «Кто посягнул на детище Петрово?..»



## Безумное молчание



Есть молчание от великого познания – от богатства духовного и мудрости – не всякую тайну вместить сердцу человеческому – слабо и пугливо оно, наше сердце.

Видел я на старых иконах образ Иоанна Богослова: пишется Богословец с перстом на устах. Этот перст на устах – знак молчания. И этот знак заграждающий прошел в душу народную.

А есть молчание от нищеты духовной – от душевной скудости нашей, по малодушию и робости.

Когда на обиду смолчишь – свою горечь примешь вольную, и молчание твое – вольный крест. Но когда ты видишь, как на глазах у тебя глумятся и оскорбляют безответно, и сам смолчишь, твое молчание – безумное.

Мы в смуту живем, все погублено – без креста, без совести. И жизнь наша – крест. И также три века назад Смута была – мудровали Вору над Родиной нашей, и тяжка была жизнь на Руси.

И в это Смутное время, у кого болела душа за правду крестную, за разоренную Русь, спрашивали совесть свою:

«За что нам наказание такое, такой тяжкий крест Русской земле?»

И ответил всяк себе ответом совести своей.

И ответ был один:

«За безумное наше молчание».

## Слово о гибели Русской земли

### I

Широка раздольная Русь, родина моя, принявшая много нужды, много страсти, вспомнить невозможно, вижу тебя, оставляешь свет жизни, в огне поверженная.

Были будни, труд и страда, а бывал и праздник с долгой всенощной, с обеднями, а потом с хороводом громким, с шумом, с качелями.

Был голод, было и изобилие.

Были казни, была и милость.

Был застенок, был и подвиг: в жертву приносили себя ради счастья народного.

Где нынче подвиг? где жертва?

Гарь и гик обезьяний.

Было унижение, была и победа.

Безумный ездук, хочешь за море прыгнуть из желтых туманов гранитного любимого города, несокрушимого и крепкого, как Петров камень, – над Невой, как вихрь, стоишь, вижу тебя и во сне и въявь.

Брат мой безумный – несчастлив час! – твоя Россия погибла.

Я кукушкой кукую в опустелом лесу твоём, где гниет палый лист: Россия моя погибла.

Было лихолетье, был Расстрига, был Вор, замутила Смута Русскую землю, развалилась земля, да поднялась, снова стала Русь стройна, как ниточка, – поднялись русские люди во имя Русской земли, спасли тебя: брата родного выгнали, красноречивый Кремль очистили – не стерпелось братнино иго иноверное.

Была вера русская искони изначальная.

Много знают поволжские леса до Железных ворот, много слышали горячих молитв, как за веру русскую в срубах сжигали себя.

Где ты, родная твердыня, Последняя Русь?

Я не слышу твоего голоса, нет, не доносит и гари срубной из поволжских лесов.

Или в мать-пустыню, покорясь судьбе, ушли твои верные сыны?

Или нет больше на Руси – Последней Руси бесстрашных вольных костров?

Был на Руси Каин, креста на нем не было, своих предавал, а и он любил в проклятом грехе своем свою мать Россию, сложил песни неизбывные:

«У Троицы у Сергия было под Москвою...»

Или другую – на костер пойдешь с этой песней:

«Не шуми, мати зеленая дубравушка...»

### II

Широка раздольная Русь моя, вижу твой красно-звонный Кремль, твой белоснежный, как непорочная девичья грудь, златокровельный собор Благовещенья, а не вестит мне серебряный ясак, не звонит красный звон.

Или заглушает его свист несносных пуль, обеспощивший сердце мира всего, всей земли?

Один слышу обезьяний гик.

Ты горишь – запылала Русь – головни летят.

А до века было так: было уверено – стоишь и стоять тебе, Русь широкая и раздольная, неколебимую во всей нужде, во всех страстях.

И покрой твое тело короста шелудивая, буйный ветер сдует с тебя и коросту шелудивую, вновь светла, еще светлей, вновь радостна, еще радостней восстанешь над лесами своими дремучими, над степью ковылевою, взбульливою.

Так пошло, так думали, и такая крепла вера в тебя.

Человекоборцы безбожные, на земле мечтающие создать рай земной, жены и мужи праведные в любви своей к человечеству, вожди народные, только счастья ему желавшие, вы, делая дело свое, вы по кусочкам вырывали веру, не заметили, что с верою гибла сама русская жизнь.

Ныне в сердцеvine подточилась Русь.

Вожди слепые, что вы наделали?

Кровь, пролитая на братских полях, обеспощадилась сердце человеческое, а вы душу вынули из народа русского.

И вот слышу обезьяний гик.

Русь моя, ты горишь!

Русь моя, ты упала, не поднять тебя, не подынешься!

Русь моя, земля Русская, родина беззащитная, обеспощажённая кровью братских полей, подождена, горишь!

### III

О, моя родина обреченная, пошатнулась ты, неколебимая, и твоя багряница царская упала с плеч твоих.

За какой грех или за какую смертную вину?

За то ли, что клятву свою сломала, как гнилую трость, и потеряла веру последнюю, или за кровь, пролитую на братских полях, или за кривду – сердце открытое не раз на крик кричало на всю Русь: «Нет правды на Русской земле!» – или за исконное безумное свое молчание?

Ты и ныне, униженная, затоптанная, когда пинают и глумятся над святыней твоей, ты и ныне безгласна.

Безумное молчание верных сынов твоих вопиет к Богу, как смертный грех.

О, моя родина поверженная, ты руки свои простираешь —

Или тебя посетил гнев Божий – Бог послал на тебя меч свой?

О, моя родина несчастная, твоя беда, твое разорение, твоя гибель – Божье посещение. Смирись до последнего конца, прими беду свою – не беду, милость Божию, и страсти очистят тебя, обелят душу твою.

Скажу тебе со всей болью моей – не лиха, только добра и тишины я желаю тебе – духа нет у меня: что я скажу в защиту народа моего? И стыдно мне – я русский, сын русского.

О, моя родина горемычная, мать моя униженная!

Припадаю к ранам твоим, к горящему лбу, к запекшимся устам, к сердцу, надрывающемуся от обиды и горечи, к глазам твоим иссеченным – —

Я не раз отрекался от тебя в те былые дни, грозным словом Грозного в отчаянии задохнувшегося сердца моего проклинал тебя за крамолу и неправду твою.

«Я не русский, нет правды на Русской земле!»

Но теперь – нет, я не оставляю тебя и в грехе твоём, и в беде твоей, вольную и полоненную, свободную и связанную, святую и грешную, светлую и темную.

И мне ли оставить тебя – я русский, сын русского, я из самых недр твоих.

На звезды твои молчаливые я смотрел из колыбели своей, слушал шум лесов твоих, тосковал с тобой под завывание снежных бурь твоих, я летал с твоей воздушной нечистью по диким горам твоим, по гоголевским необозримым степям.

Как же мне покинуть тебя?

Я нес тебе уборы драгоценные, чтобы стала ты светлее и радостней. Из твоих же камней самоцветных, из жемчугов – слов твоих, я низал белую рясу на твою нежную грудь.

О, родина моя обреченная, покаранная, жестокой милостью наделенная ради чистоты сердца твоего, поверженная лежишь ты на мураве зеленой, вижу тебя в гари пожаров под пулями, и косы твои по земле рассыпались.

Я затеплю лампаду моей веры страдной, буду долгими ночами трудными слушать голос твой, сокровенная Русь моя, твой ропот, твой стон, твои жалобы.

Ты и поверженная, искупающая грех свой, навсегда со мной останешься, в моем сердце.

Ты канешь на дно, светлая.

О, родина моя обреченная, Богом покаранная, Богом посещенная!

Сотрут имя твое, сгинешь, и стояла ты или не было, кто вспомянет?

Я душу сохраню мою русскую с верой в правду твою страдную, сокрою в сердце своем, сокрою память о тебе, пока слово мое, речь твоя будет жить на трудной крестной земле, замолкающей без подвига, без жертвы, в беспесенье.

#### IV

Ободранный и немой стою в пустыне, где была когда-то Россия.

Душа моя запечатана.

Все, что у меня было, все растащили, сорвали одежду с меня.

Что мне нужно? – Не знаю.

Ничего мне не надо. И жить незачем.

Злоба кипит в душе, кипит бессильная: ведь полжизни сторело из-за той России, которая обратилась теперь в ничто, а могла бы быть всем.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.